

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

М о с к в а 2 0 4 2

Всемирно известный роман-антиутопия
Переведен на 30 языков мира



Владимир Николаевич Войнович

Москва 2042

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=126215
Москва 2042: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-24310-5*

Аннотация

«Москва 2042» – сатирический роман-антиутопия, веселая пародия, действие которой происходит в будущем, в середине XXI века, в обезумевшем «марксистском» мире.

Герой романа – писатель-эмигрант – неожиданно получает возможность полететь в Москву 2042 года и в результате оказывается действующим лицом и организатором новой революции...

2042 год еще далеко, но кто знает, а вдруг Войнович все угадал?

Содержание

Вступление	4
Часть первая	5
Разговор за кружкой пива	5
Фройляйн Глобке	9
Три миллиона за репортаж	11
Разговор с чертом	13
Слежка	15
Похищение	16
Неожиданная встреча	19
Гавайские острова	22
Звонок из Торонто	27
Новый Леонардо да Винчи	29
Гений из Бескудникова	33
Вожак и стадо	36
Лирическое отступление о бороде	39
Жених	40
У вас есть айденфикейшен?	42
В усадьбе	44
На белом коне	47
Секс-бочка	55
Хорошо	57
Долгие провода	59
Лицо в иллюминаторе	61
Часть вторая	63
Полет	63
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Владимир Войнович

Москва 2042

Вступление

К сожалению, никаких записей у меня не сохранилось. Все мои тетради, блокноты, дневники, записные книжки и отдельные листки бумаги остались там. Только один листок, мятлый, потертый, с разлохмаченными краями, случайно завалился за подкладку пиджака и был возвращен мне фрау Грюнберг, хозяйкой нашей штокдорфской химчистки. На этом листочке я разглядел, с одной стороны было написано: «4 шм. У наг. Тт. Л. О. Ль». И на обратной стороне: «Завтра или никогда!!!» Ну смысл этой фразы мне совершенно ясен, я его по ходу дела легко объясню. Но что значит первая запись? О каких четырех «шм» идет речь и что означают другие буквы, убей меня бог, не помню.

Меня лично почему-то больше всего интригует это «Л» с твердым знаком, но что им обозначено – предмет, человек, животное? – нет, оно не вызывает во мне никаких решительно ассоциаций.

А ведь память у меня совсем еще недавно была просто прекрасная. Особенно на цифры. Я всегда помнил наизусть номера своего паспорта, трудовой книжки, военного билета, членского билета Союза писателей. Хотите верьте, хотите нет, но я номера телефонов никогда не записывал, запоминал их с первого раза.

А теперь?..

Теперь даже о собственном дне рожденья я иногда узнаю из поздравительных телеграмм.

Все же у меня никакого другого выхода нет, как полагаться на память.

Легко предвижу, что некоторые читатели отнесутся к моему рассказу с недоверием, скажут: это уж слишком, это он выдумал, этого быть не может. Не буду спорить, может или не может, но должен сказать совершенно определенно, что я ничего никогда не выдумываю.

Я рассказываю только о том, что сам видел своими глазами. Или слышал своими ушами. Или мне рассказывал кто-то, кому я очень доверяю. Или доверяю не очень. Или очень не доверяю. Во всяком случае, то, что я пишу, всегда на чем-то основано. Иногда даже основано совсем ни на чем. Но каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с теорией относительности, знает, что ничто есть разновидность нечто, а нечто это тоже что-то, из чего можно извлечь кое-что.

Я думаю, этого объяснения достаточно, чтобы вы отнеслись к моему рассказу с полным доверием.

К вышесказанному остается только добавить, что никаких прототипов у описанных в этой книге людей не имеется. Всех главных героев и второстепенных персонажей обоего пола автор срисовывал исключительно с себя самого, приписывая им не только свои мнимые достоинства, но и реальные недостатки, пороки и дурные наклонности, которыми его столь щедро наделила природа.

Часть первая

Разговор за кружкой пива

Этот разговор произошел в июне 1982 года.

Место действия: Английский парк, Мюнхен.

Мы сидели в пивной на открытом воздухе. Мы – это я и мой знакомый, которого зовут Рудольф, или, короче, Руди. А фамилию его русскому человеку запомнить вообще невозможно. Не то Миттельбрехенмахер, не то Махенмиттельбрехер. Что-то в этом духе, но это неважно. Я лично зову его просто Руди.

Мы сидели друг против друга, и Руди слегка загораживал мне общий обзор. Но, скосив глаза чуть правее, я видел перед собой отливавшее свинцом сонное озеро, по берегу которого, переваливаясь с ноги на ногу, медленно прохаживались жирные гуси и голые немцы. То есть, скорее всего, не только немцы, но и эксгибиционисты всех национальностей, которые, пользуясь попустительством здешней полиции, слетаются в Мюнхен со всего мира, чтобы на людей посмотреть и себя показать.

Мы пили пиво из литровых кружек, которые здесь называются масс.

Я, правда, точно не знаю, это сама кружка называется масс или порция пива, которая помещается в кружке. Впрочем, это неважно. Важно то, что мы сидели в пивной, пили пиво и говорили о чем попало.

Начали мы, кажется, с лошадей. Потому что этот Руди – коннозаводчик. Он выращивает, покупает и продает лошадей. Я с ним, между прочим, на почве лошадей и познакомился.

Выполняя одно деликатное поручение. Поручение состояло в том, чтобы приобрести и переправить в Канаду жеребенка благородной породы и обязательно белой масти. Помнится, я тогда удивлялся, почему жеребенка надо покупать здесь, а не в самой Канаде. Или в любой стране на том континенте.

Когда я задал такой вопрос Руди, он надо мной очень долго смеялся. Он мне сказал, что во всем мире разводят много лошадей, которых называют белыми исключительно по невежеству. На самом деле они в подавляющем большинстве бывают белыми с желтым, розовым, серым, синим или иным отливом. Но истинно белые лошади рождаются и разводятся только в одной-единственной местности на всей земле. Эта местность называется Камарг и находится во Франции, в устье Роны.

Выбирать жеребенка мы ездили на роскошном Рудином «Ягуаре», напичканном всякой электроникой, которую Руди обожает даже больше, чем своих лошадей. У него весь дом оборудован по последнему слову самой что ни на есть ультратехники, на которую он каждый год тратит миллионы со своих лошадиных сделок. Какие-то компьютеры, телерадиокомбайны, автоматические двери и еще что-то в этом духе. Свет в его кабинете с наступлением темноты сам по себе включается, но только в том случае, если в кабинете кто-нибудь есть. Если хозяин выходит из кабинета, свет немедленно гаснет. (Руди утверждает, что благодаря этому устройству он экономит на электричестве не менее четырех марок в месяц.) Само собой, у него есть музыкальный компьютер, на котором можно играть, как на органе, скрипке, ксилофоне, балалайке и на множестве других инструментов по отдельности и вместе. Так что один человек одним пальцем может исполнять произведения, которые раньше были доступны только большим оркестрам.

Руди так увлечен этой техникой, что, кажется, ничего не читает, кроме технических журналов и фантастики. Он даже моих книг не читал, хотя держит их на видном месте и

своим лошадиным знакомым всегда хвастается, что у него есть такой вот необычный друг – русский писатель.

Мне он говорит (не читая), что я пишу слишком реалистично, а реализм – это вчерашний день литературы. Честно говоря, меня такие вздорные суждения просто бесят, и я Руди всегда говорю, что его лошади тоже вчерашний день. Но если даже лошади еще кому-то нужны, то и в литературе, изображающей реальную жизнь людей, тоже потребность пока еще не отпала. Людям о самих себе читать гораздо интереснее, чем о каких-то там роботах или марсианах.

Я ему это как раз в пивной, где мы сидели, сказал. На что Руди, снисходительно усмехаясь, предложил мне сравнить тиражи моих книг с тиражами любого средней руки фантаста.

– Фантастика, – сказал он самоуверенно, – это вообще литература будущего.

Этим утверждением он вывел меня из себя. Я заказал второй масс и сказал, что фантастика, как и детектив, это вообще не литература, а чепуха, вроде электронных игр, которые способствуют развитию массового идиотизма.

Жаркое солнце, холодное пиво и общий строй здешней жизни не располагают к страстному спору. Руди возражал лениво, не поддаваясь моему возбуждению, и вспомнил Жюль Верна, который, мол, в отличие от реалистов, предсказал многие научные достижения нашего времени, включая путешествие человека на Луну.

Я отвечал, что предвидеть научные достижения вовсе не задача литературы, а в предсказаниях Жюль Верна ничего оригинального нет. Всякий человек когда-нибудь воображал себе и полеты в космос, и плавание под водой, во многих старинных книгах подобные чудеса были описаны задолго до Жюль Верна.

– Возможно, – согласился Руди. – Однако фантасты предвидели не только технические открытия, но и эволюцию современного общества к тоталитаризму. Возьми, например, Оруэлл. Разве он не предсказал в деталях создание той системы, которая существует сегодня у вас в России?

– Конечно, не предсказал, – сказал я. – Оруэлл написал пародию на то, что существовало уже при нем. Он описал идеально действующий тоталитарный механизм, который в живом человеческом обществе существовать просто не может. Если взять Советский Союз, то его население проявляет лишь внешнее послушание режиму и в то же время абсолютное презрение к его лозунгам и призывам, отвечая на них плохой работой, пьянством и воровством, а так называемый старший брат – предмет общих насмешек и постоянная тема для анекдотов.

Должен заметить, что с западными людьми спорить совершенно неинтересно. Западный человек, видя, что собственная точка зрения собеседника очень ему дорога, готов тут же с ней согласиться, чего совершенно не бывает у нас.

Наш спор с Руди сам по себе как-то увял, а мне хотелось его подогреть. Поэтому я сказал, что фантасты выдумали много такого, что сбылось, но выдумывают также и то, что не сбудется никогда, например путешествия во времени.

– Да? – сказал Руди, закуривая сигару. – Ты действительно думаешь, что путешествия во времени совершенно невозможны?

– Да, – сказал я. – Именно так и думаю.

– В таком случае, – сказал он, – ты очень ошибаешься. Путешествия во времени уже перешли из области фантастики в область практики.

Само собой разумеется, наш разговор шел на немецком языке, в котором я тогда, в 1982 году, был еще не очень силен (сейчас я в нем тоже силен не очень). Поэтому я спросил Руди, правильно ли я его понял, что уже сегодня можно при помощи каких-то технических средств перебраться из одного времени в другое.

– Да, да, – подтвердил Руди. – Именно об этом я тебе и толкую. Уже сегодня ты можешь пойти в райзебюро,¹ купить за определенную сумму билет и на машине времени отправиться в будущее или прошлое, куда тебе больше нравится. Между прочим, такая машина существует пока только у нас в Германии, у компании «Люфтганза». Кстати сказать, техническое решение очень простое. Это обыкновенный космоплан вроде американского шаттла, снабженный, однако, не только простыми ракетными, но и фотонными двигателями. Космоплан достигает сначала первой, потом второй космической скорости, после чего включаются фотонные двигатели. С их помощью машина развивает околосветовую скорость, и тогда время для тебя останавливается, а на Земле идет, и ты попадаешь в будущее. Или аппарат развивает сверхсветовую скорость, и тогда ты опережаешь время и попадаешь в прошлое.

Я уже накачался пивом и немного опьянел, но все же еще не одурел. И я сказал Руди:

– Знаешь что, ты мне брось все эти глупости городить. Ты очень хорошо знаешь – это еще Эйнштейн доказал, – что не только сверх-, но и просто световой скорости достичь вообще невозможно.

На что Руди вышел наконец из себя, выплюнул сигару, стукнул по столу пустой кружкой, чего я от него, такого уравновешенного, не ожидал.

– То, что сказал твой Эйнштейн, – заявил Руди, – давно устарело. Евклид говорил, что через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну параллельную, и был прав, а Лобачевский сказал, что можно провести две или больше, и оба оказались правы. Эйнштейн сказал, что невозможно, и был прав, а я говорю, что возможно, и я тоже прав.

– Слушай, слушай, – сказал я ему, – не надо так сильно задаваться. Я тебя, конечно, уважаю (я, когда выпью, всех уважаю), но ты все-таки еще не Эйнштейн.

– Ну да, – согласился Руди. – Я действительно не Эйнштейн. Я – Миттельбрехенмахер, но я тебе должен сказать, что и Лобачевский был не Евклид.

Видя, что он так сильно разволновался, я ему тут же сказал, что меня, в конце концов, мало волнует, кто из них (Эйнштейн, Лобачевский, Евклид или Руди) умнее, я современной техникой готов пользоваться практически, а на основе каких она законов построена, мне даже не интересно. И в самом деле. Вот эти свои записки я сейчас пишу на компьютере. Я нажимаю кнопки – на экране возникают слова. Несколько простейших манипуляций, и те же слова отпечатываются на бумаге. Если я захочу поменять какие-то абзацы местами, машина немедленно исполнит мою волю. Захочу во всех случаях поменять фамилию Миттельбрехенмахер на Махенмиттельбрехер или на Эйнштейн, машина и это для меня сделает. Я ежедневно пользуюсь электробритвой, радиоприемником или телевизором. Неужели я должен обязательно знать, на основе каких теорий все эти штуки работают?

Я спросил Руди, летал ли он сам на машине времени. Он сказал, что летал и с него хватит. Он однажды хотел посмотреть в Древнем Риме бой гладиаторов, так его самого вывели на арену. И он еле-еле унес оттуда ноги. С тех пор он всякие такие чудеса предпочитает смотреть по телевизору или читать о них книги.

Конечно, я ему не очень-то поверил. Но он мне сказал, что в реальной возможности путешествий во времени я могу легко убедиться. Для этого мне надо только посетить его знакомую фройляйн Глобке, которая работает в райзебюро на Амалиенштрассе, пять.

– Правда, – сказал Руди, – совершить путешествие практически тебе все равно вряд ли удастся.

– Почему же все равно, почему же вряд ли? – спросил я. – Ты же сам говоришь, что оно из области фантастики перешло в область практики.

¹ Reisebüro – бюро путешествий (нем.).

– Да, – усмехнулся он. – Да, это правда. Но цена билета еще из области фантастики в область доступности не перешла. Да и зачем тебе куда-то лететь и подвергать себя ненужному риску? Ты же не авантюрист.

Эта последняя фраза говорит только о том, что Руди плохо знал меня. Я именно авантюрист.

Фройляйн Глобке

Обстановка в райзедьоро на Амалиенштрассе была самая обыкновенная. Множество красочных плакатов и проспектов, предлагающих желающим осмотреть египетские пирамиды, исландские гейзеры, норвежские фиорды, погреться на Багамских островах, скатиться на лыжах со склонов швейцарских Альп или совершить путешествие на знаменитом океанском лайнере «Королева Елизавета Вторая».

Я спросил фройляйн Глобке, и мне указали на рыжеватую с веснушками девушку в углу, отгороженном экраном компьютера.

Честно говоря, я в последний момент порядочно оробел. Я подумал, что этот гад Руди, конечно же, меня разыграл и сейчас все райзедьоро сбежится, чтобы поржать над одураченным иностранцем. Но когда я сказал фройляйн Глобке свою фамилию и цель своего прихода, она, к моему удивлению, а отчасти все же и изумлению, несколько не удивилась и смеяться не стала. Да, сказала она, у них действительно есть возможность отправить любого своего клиента в любое время и в любое место на планете Земля, и она, фройляйн Глобке, готова выслушать мои пожелания.

Пожелание мое, с ее точки зрения, было довольно скромным. Я хотел бы попасть в Москву через 50 лет, то есть в Москву 2032 года.

– Хорошо, – сказала фройляйн и стала тыкать своими наманикюренными пальчиками в кнопки компьютера.

На экране запрыгали какие-то буквы и цифры, фройляйн Глобке посмотрела на них, поцокала языком, повернулась ко мне и развела руками.

– Ага, значит, у вас все-таки этого нет? – обрадовался я возможности посадить Руди в лужу.

– К сожалению, – сказала смущенно фройляйн. – На этот рейс все билеты проданы. Но если вы согласитесь полететь на 60 лет вперед...

– Ну какая мне разница! – перебил я ее. – Десять лет больше, десять меньше, это неважно.

– Прима! – сказала фройляйн и, лучезарно улыбаясь, сообщила, что я сделал правильный выбор, придя именно к ним. Потому что они пока единственное в Европе райзедьоро, организующее поездки подобного рода. Если меня интересует способ передвижения...

– Извините, – перебил я ее нетерпеливо, – способ передвижения мне уже приблизительно известен, мне его достаточно подробно объяснил херр Махенмиттельбрехер.

– Миттельбрехенмахер, – вежливо поправила она.

Я поблагодарил за поправку и сказал, что меня интересует не теоретическая основа, а практические условия полета. Как там насчет состояния невесомости, и вообще, не слишком ли сильно качает?

– Дело в том, – объяснил я, – что, когда я выпью, меня иногда очень сильно укачивает даже на земле.

– О, насчет первого, – улыбнулась фройляйн, – вы можете совершенно не беспокоиться. Наша электронная система искусственной гравитации вне всякой конкуренции. А вот насчет укачивания ничего сказать не могу. А вы не могли бы на время полета воздержаться от употребления крепких напитков?

– Что? – переспросил я. – Шестидесять лет воздержания? Фройляйн, вы хотите от меня слишком многого.

– Ну что вы! – горячо возразила фройляйн. – О таком долгом сроке нечего и говорить. Это на земле пройдет шестидесять лет. А для вас это будет всего три часа. Как обыкновенный полет из Мюнхена в Москву.

– Ну да, – сказал я. – Это конечно. Это я понимаю. Для меня там пройдет только три часа. Но на самом-то деле пройдет шестьдесят лет. И за шестьдесят лет ни капли?

– Ну что вы! Что вы! – фройляйн так разволновалась, что у нее веснушек стало вдвое больше. – Почему же ни капли? В конце концов, пить или не пить, это ваше личное дело. Кстати сказать, в этом полете напитки пассажирам выдаются в неограниченном количестве и, разумеется, бесплатно.

– Это другое дело, – сказал я. – Что же вы мне сразу-то не сказали, что напитки бесплатно? Если бесплатно, тут и обсуждать нечего. Пишите: один билет туда и через месяц обратно, место для пьющих и курящих, желательное у окна.

– Хорошо, – кивнула фройляйн. – Однако должна вас предупредить, что наша фирма обратного возвращения не гарантирует. Мы, конечно, сделаем все, что от нас зависит, но мы не знаем, какие там будут в то время политические условия. Разумеется, консул нашей страны будет всегда к вашим услугам, но, между нами говоря, кто может поручиться, что через шестьдесят лет наша страна будет еще существовать и будет иметь консулов?

Ну да, конечно, подумал я, за шестьдесят лет может произойти что угодно. Но я же для того и лечу, чтоб узнать, что там именно произойдет.

– Ладно, – сказал я. – Чего уж там. Возвращения вы гарантировать не можете. Но если вы гарантируете бесплатные напитки, то все равно пишите.

Я дал ей свой паспорт. Тонкие пальчики фройляйн Глобке забегали по клавиатуре компьютера, словно исполняя неслышимую музыку букв и цифр. На экране появились мои имя, фамилия, номер паспорта, номер и дата рейса, потом еще какие-то цифры, которые как-то прыгали, сами между собой весело перемножаясь. Наконец цифры замерли, выстроившись в такое число: 4 578 843,00.

– Билет в два конца, – прочитала фройляйн, – стоит ровно четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок три марки.

– Ого! – сказал я.

– Но если вы внесете наличными, мы предоставим вам десятипроцентную скидку, и тогда вся ваша поездка обойдется вам всего... – Она пошевелила пальчиками, цифры опять попрыгали и изобразили новое число: – Четыре миллиона сто двадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь марок и семьдесят пфеннигов.

– Это уже другое дело, – сказал я.

– Кроме того, в случае вашего невозвращения в течение трех месяцев семьдесят пять процентов стоимости обратного билета будут возвращены вашим наследникам.

– Ну это совсем хорошо, – заметил я. – Правда, у меня все равно таких денег в наличии пока не имеется, но я очень надеюсь, что мне поможет херр...

– Митгельбрехенмахер, – подсказала фройляйн Глобке.

Вот люди! Почему они всегда лезут со своими подсказками? Неужели эта фройляйн думает, что я без нее не мог бы вспомнить фамилию своего лучшего друга?

Три миллиона за репортаж

Конечно, на Руди я рассчитывал совершенно напрасно. Когда я позвонил ему из автомата, он сказал, что с удовольствием одолжил бы мне необходимую сумму, но, к его великому сожалению, он сам сейчас испытывает некоторые финансовые затруднения. Дело в том, что последние шесть миллионов он потратил на двух вывезенных из Саудовской Аравии жеребцов, один из которых как раз вчера сломал ногу. Так что три миллиона тю-тю.

Как я потом узнал, вся эта история про сломанную ногу была чистым враньем. Руди просто побоялся одолжить мне деньги. Миллионеры, как я заметил, вообще люди прижимистые.

Домой я вернулся отчасти расстроенный, отчасти успокоенный. Не получилось, значит, не получилось. Не судьба. Может, так и лучше. В конце концов, мне уже сорок лет, возраст, достигнув которого от авантюры пора по возможности уклоняться.

Что касается моей жены, то она таким развитием событий была, как я заметил, очень даже довольна. Потому что я какой ни на есть, а все-таки муж. И если я где-нибудь в отдаленном этом будущем почему-то застряну, то еще неизвестно, найдет она себе другого такого же или нет.

Жена настолько расчувствовалась, что за ужином даже предложила мне выпить, чего обычно не делает. Я, понятно, долго упрашивать себя не заставил. Первую рюмку я выпил с женой, вторую и третью, когда она вышла к телефону, а четвертую опять с ней.

– Да, – сказал я, – а все-таки жаль, что не получилось. Очень хотелось бы посмотреть.

– Что там смотреть? Ты думаешь, там за это время что-нибудь изменится?

– За шестьдесят-то лет? – спросил я. – Неужели ты думаешь, что за шестьдесят лет ничего не произойдет?

Тогда она мне напомнила рассказ нашего соседа, который недавно умер. Когда-то он сюда приехал из России с семьей и не хотел распаковывать чемоданы. «Скоро большевиков прогонят, – говорил он, – и нам придется ехать обратно. Зачем же делать двойную работу: распаковываться и опять паковаться?»

Опять зазвонил телефон. Как только жена вышла, я тут же хлопнул еще одну рюмку водки, но не успел наполнить вторую – жена вернулась.

– Тебя какой-то американец, – сказала она. Американец оказался корреспондентом журнала «Нью Таймс». Он спросил, не могу ли я его принять завтра по срочному делу. На мой вопрос, что еще за срочные дела, он ответил, что это не телефонный разговор. (А еще говорят, что только в Советском Союзе люди боятся говорить по телефону.)

– Хорошо, – сказал я, – приезжайте, только не раньше десяти. Я долго работаю и поздно встаю.

– О'кей, – сказал он и повесил трубку. Вот говорят, американцы развязные. Я этого не нахожу. Большинство из всех встреченных мною в жизни американцев воспитанны, деликатны, скромно, но опрятно одеты и очень приветливы. Конечно, они иногда кладут ноги на стол, но меня лично это совсем не шокирует. Они расслабляются, или, как они сами говорят, релаксируют. Ну и правильно. Релаксировать полезно для здоровья. А рефлексировать, как это делаем мы, вредно. Я тоже иногда кладу ноги на стол, но никакого релакса не получается, мы к нему не приучены.

На другое утро ровно в десять в дверь позвонили.

Открыв дверь, я увидел высокого стройного человека в голубоватом костюме, с темными, зачесанными на косо пробор волосами.

– Господин Мак.? – начал я, забыв продолжение его ирландской фамилии.

– Зовите меня просто Джон, – сказал он и улыбнулся.

Я пригласил его в гостиную и предложил кофе.

– Виталий, – сказал он, – у меня к вам большая просьба. Вы выслушаете мое предложение, а потом, независимо от того, примете его или нет, о нашем разговоре не будете никому сказать.

– Вы из ЦРУ? – спросил я.

– Нет, что вы! Я из «Нью Таймс», как и сказал. Но все-таки мне бы хотелось...

– Хотите, чтобы я поклялся на Библии?

– Это не есть обязательно, – улыбнулся он. – Мне достаточно вашего слова. Я слышал, что вы собираетесь идти в Советский Союз две тысячи какого-то года.

– Как вы узнали? – удивился я. – Я ведь об этом никому не рассказывал.

– Не беспокойтесь, я тоже не расскажу никому.

– Вы можете рассказывать кому угодно, потому что я никуда не еду. Билет в два конца стоит...

– Я все знаю, – перебил он. – Но если дело только в цене билета, наша фирма все расходы берет на себя.

– Все расходы? – переспросил я недоверчиво. – Четыре с лишним миллиона марок? Да это почти два миллиона долларов.

– И еще миллион вы получите в виде гонорара за подробный репортаж о вашей поездке.

– Три миллиона долларов за какой-то репортаж?

Он усмехнулся.

– Виталий, вы, я вижу, еще не совсем освоились на Западе. Это не какой-нибудь репортаж. Это сенсация века. Или даже двух веков. Возможно, она стоит дороже, но наше финансовое положение сейчас не на самом лучшем уровне.

Я обещал Джону подумать. Он оставил мне свою визитную карточку и, не допив кофе, ушел.

Разговор с чертом

Глубоко ошибается тот, кто думает, что на мое решение хоть сколько-нибудь повлияли бешеные деньги, которые у меня появилась возможность заработать. Не буду утверждать, что я к деньгам равнодушен, но могу сказать определенно, что только ради денег я никогда не рискнул бы ни одним своим волосом.

И, пожалуй, я оставил бы просьбу Джона без удовлетворения, но тут проснулся во мне мой черт, который с тех пор, как в меня вселился, только о том и думает, как бы подбить меня на какую-нибудь авантюру. Иногда он перегибает палку, и тогда я давлю его в себе без малейшей жалости. Он затихает и некоторое время не подает никаких признаков жизни. В эти периоды я веду себя почти идеально: воздерживаюсь от питья и курения, дорогу перехожу только на зеленый свет, веду машину, подчиняясь всем дорожным знакам, а заработанные деньги отдаю жене до копейки. В такие дни все знающие меня не могут нарадоваться. Одет с иголочки, умыт, выбрит, подстрижен и к тому же исключительно со всеми любезен.

Но наступает время, черт пробуждается и начинает нудить:

– Ну что ты встаешь? Еще рано, обед еще не готов, можешь поспать. Спешить некуда, все равно когда-то помрешь. Умываться сегодня не нужно, ты это делал вчера. Полежи, покури, наполни легкие дымом. Вон они, твои сигареты, на тумбочке.

Черт мой такой настойчивый, я не всегда могу перед ним устоять.

Я вытряхнул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой, затянулся.

– Bravo! – воскликнул черт. – Рак – лучшее средство против курильщиков.

Это его любимое изречение.

– Дурак! – сказал я ему. – Тебе надо не во мне сидеть, а работать в обществе по борьбе с курением.

Затягиваясь дымом «Мальборо», я стал думать о предложении Джона.

Предложение было заманчиво, но все-таки, пожалуй, не для меня. Куда я поеду? Что меня там ждет, в этом далеком будущем? Может быть, какие-то ужасные передраги. А я ведь не мальчик. Я солидный семейный человек, мне вот-вот (неужели правда?) стукнет сорок. Пора успокоиться и остепениться. Избегать излишних волнений, стрессовых ситуаций и сквозняков. Надеть халат, заварить некрепкий чай, ну, в крайнем случае, выкурить трубку и сидеть себе за письменным столом, сочиняя какой-нибудь роман с плавно разворачивающимся сюжетом.

– Из всех человеческих пороков самым отвратительным является благоразумие, – сказал черт.

– Пошел вон! – сказал я. – Не суйся не в свое дело. Ты мне надоел.

– Ты мне тоже, – сказал черт. – Особенно в такие минуты, когда ты становишься добродетельным. Слушай, слушай, – зашептал он, – ты же хорошо знаешь, что благоразумие неблагоразумно. Сегодня ты боишься простудиться, а завтра на тебя кирпич упал, и тогда какая разница, был ты простужен или нет? Ну что ты колеблешься? Тебе такая удача выпадает, воспользуйся! Поедем посмотрим, что там ваши коммунисты навывдумывали за шестьдесят лет.

– А ты любишь коммунистов? – спросил я насмешливо.

– Ну а как же! – закричал черт. – Как же их не любить? Они ведь тоже вроде чертей, всегда что-нибудь веселое придумают. Слушай, ну давай поедem, я тебя очень прошу.

– Ладно, – сказал я. – Допустим, я поеду. Но это будет последняя авантюра, в которую ты меня втравливаешь.

– Прекрасно! – заплодировал черт. – Замечательно! Вполне даже возможно, что она будет последняя.

– Идиотина! – сказал я ему. – Чему радуешься? Если со мной что-нибудь случится, что ты без меня будешь делать?

– Да-да, – сказал черт печально. – Признаюсь, мне тебя будет ужасно не хватать. Но, честно говоря, я бы предпочел тебя видеть мертвым, чем благоразумным.

– Заткнись! – сказал я. – И не мешай мне думать.

– Затыкаюсь, – сказал черт смиренно и затих, понимая, что свое дело он сделал.

И хотя я сказал Джону, что мое решение вряд ли будет положительным и что я позвоню ему не раньше чем недели через полторы, я позвонил ему уже через три дня и сказал: ДА.

Слежка

Я думаю, нечего объяснять, что прежде, чем пуститься в столь рискованное путешествие, какое я задумал, следует позаботиться о своей семье и сделать распоряжения, у которых есть достаточно шансов оказаться последними.

Банк, почта, страховое агентство, нотариальная контора – вот те учреждения, на посещение которых у меня ушло несколько дней.

Занимаясь всеми этими делами, я вдруг каким-то выработанным еще в прежние годы в Москве чутьем ощутил, что за мной кто-то следит.

Мне было очень некогда, но, проявив элементарную наблюдательность, я заметил, что телефон мой ведет себя не совсем обычно. То в нем слышны какие-то шорохи (магнитофон?), то он сам по себе почему-то тренькает, то, звоня кому-то, я попадаю не в тот номер, то ко мне попадает кто-то, кто звонил вовсе не мне.

Моя собака по ночам вдруг начинала ни с того ни с сего лаять. Выбегая во двор, я никого ни разу не обнаружил. Но однажды нашел под своей дверью окурочек сигареты «Прима».

Другой раз я обратил внимание на молодого человека азиатского вида. Проезжая мимо моих ворот на велосипеде, он слишком старательно от меня отвернулся. Потом в одном из прилегающих переулков мое внимание привлек старый зеленый «Фольксваген» с франкфуртским номером. Заглянув внутрь, я обнаружил забытую на заднем сиденье газету «Правда».

На всякий случай я сообщил о своих наблюдениях в полицию. Там меня внимательно выслушали, но сказали, что подозрения мои слишком расплывчаты и неконкретны, но если у меня появятся более убедительные доказательства слежки, они, разумеется, примут необходимые меры.

Полицейский, с которым я говорил, все же записал номер «Фольксвагена», а окурочек «Примы» положил в целлофановый пакетик и спрятал в сейф.

Похищение

В тот же день со мной случилось происшествие, которое теперь можно назвать забавным, но тогда оно мне таковым не показалось.

Вернувшись из полиции, я решил выкинуть из головы все свои подозрения и развеяться.

Я сел на велосипед и поехал прокатиться по нашему штокдорфскому лесу.

За время своего изгнания я привык к велосипедным прогулкам и полюбил их. Весь этот преимущественно хвойный лес, который отделяет нашу деревню от окраины Мюнхена, очень мне мил и напоминает наши подмосковные леса, но отличается от них тем, что вдоль и поперек пересечен асфальтовыми и гравийными дорожками с указателями на перекрестках и подробными планами на опушках. Так что заблудиться здесь можно только при очень большом желании.

Я ехал по своей любимой дорожке, соединяющей Бухендорф с Нойридом, она прямая, асфальтированная и всегда пустынна в будние дни. Я ехал довольно быстро, обдумывая предстоящее путешествие, и, видимо, так увлекся своими мыслями, что не заметил чего-то, что ожидало меня на дороге.

Я и сейчас не знаю, что там было. Скорее всего натянута поперек дороги веревка, на которую я налетел, упал и потерял сознание. А может, меня оглушили каким-то другим способом, ничего определенного сказать не могу. Я только помню, что я ехал на велосипеде и думал. А потом наступил провал в памяти, а потом, как говорят американцы, я нашел себя на каком-то диванчике, который слегка подпрыгивал подо мной.

Думая, что нахожусь у себя в комнате, я предположил, что происходит землетрясение, и хотел вскочить на ноги. Но тут же заметил, что, во-первых, тело меня не очень хочет слушаться, а во-вторых, я нахожусь не дома, а внутри какого-то автобуса с занавешенными окнами. Автобус куда-то едет, а передо мной сидят три человека, два в обыкновенных костюмах, а один весь в белом, должно быть врач.

«Батюшки! – подумал я. – Что ж это со мной случилось, подо что я попал и куда меня везут?»

Я пошевелился, чтоб как-то себя обшупать, проверить целостность своего организма.

Как только я проявил признаки жизни, люди, сидевшие передо мной, тоже зашевелились, а врач сказал что-то на незнакомом мне языке. Приглядевшись к нему, я увидел, что это вовсе не врач, а скорее всего какой-то араб в национальном белом балахоне и такой же белой накидке, закрывавшей половину лица. Двое других были, вероятно, тоже арабы, но одетые по-европейски. Этим, в костюмах, было лет по тридцать, а тот, в накидке, выглядел, пожалуй, постарше.

При моем пробуждении они сначала перекинулись несколькими словами, а потом тот, который в накидке, заговорил быстро, громко и повелительно. Причем, когда он открыл рот, от его зубов изошло голубоватое сияние, от которого в автобусе вроде бы даже стало светлее.

Когда он замолчал, один из его спутников кивнул и по-английски обратился ко мне. Назвав меня по фамилии (разумеется, с добавлением слова «мистер»), он сказал, что Его Высочество (то есть тот, который в накидке) приносит мне свои глубочайшие извинения, что им пришлось так бесцеремонно со мной обойтись. Они никогда не позволили бы себе такого обращения со столь уважаемым и достойным человеком, каким они меня безусловно считают. Только исключительная необходимость толкнула их на такой поступок, о чем Его Высочество еще и еще раз весьма сожалеет.

Очевидно, после чего-то, что со мною недавно случилось, у меня было некоторое помрачение памяти, я не знал, о чем именно сожалеет Его Высочество, и решил промолчать.

– Однако Его Высочество, – продолжал переводчик, – очень надеется, что вы почувствуете себя достаточно хорошо и не будете слишком долго держать на нас обиду. Его Высочество со своей стороны готов возместить материально тот небольшой ущерб, который мы невольно вам нанесли.

При этих словах Его Высочество энергично закивал головой (не открывая, однако, лица), потом полез к себе под подол, долго путался там в складках и ковырялся и, вытащив наконец кожаный мешочек вроде кисета, аккуратно положили его на разделявший нас узкий столик.

– Что это? – спросил я, косясь на мешочек.

– Небольшой личный подарок Его Высочества, – улыбнулся переводчик (и Высочество тоже улыбнулось смущенно). – Немного золота.

Я закрыл глаза и стал думать, что это за люди и чего они хотят от меня. Ничего не придумав, я открыл глаза и прямо спросил их об этом.

Сначала Его Высочество что-то быстро-быстро проговорило. Потом переводчик объяснил мне, что они представители одной небольшой, но очень богатой арабской страны. Узнав о моей предстоящей поездке...

– Как вы о ней узнали? – перебил я его.

– У нас на Востоке говорят, – тихо сказал переводчик, – что, если приложить ухо к земле, можно услышать весь мир.

Так вот, приложив ухо к земле и узнав о моих планах, они решили обратиться ко мне с одной маленькой, но деликатной просьбой. Они надеются, что в великом Советском Союзе, большом друге арабских народов, через какое-то время некоторые секреты перестанут быть секретами. И они, мои спутники, были бы мне очень благодарны, если бы мне удалось достать и привезти сюда подробный чертеж обыкновенной водородной бомбы, которая им нужна исключительно для мирных целей. Если я окажу им такую услугу, то они и лично Его Высочество в долгу не останутся, и мешок золота, который я получу в обмен на несколько кадров фотопленки, может быть в пятьдесят раз больше того, что лежит перед моими глазами.

Первым движением моей души было немедленно послать их к шайтану. Но, честно говоря, я не был уверен, что моя откровенность будет оценена благоприятным для меня образом. Тогда я решил воспользоваться положительным опытом Хаджи Насреддина, который, как известно, в свое время обещал шаху в течение двадцати лет научить ишака говорить по-человечески. При этом Насреддин считал, что ничем не рискует, потому что за двадцать лет или шах умрет, или ишак, или он, Насреддин, предстанет перед Аллахом.

Не желая выглядеть в глазах своих спутников слишком уж готовым к исполнению их пожеланий, я сказал, что, разумеется, постараюсь (и даже не столько за деньги, сколько из исключительного уважения к их стране и лично к Его Высочеству) сделать все, что будет в моих скромных силах, но конкретно обещать ничего не могу. Мне, сказал я, сейчас даже трудно себе представить, какой будет моя страна через столь долгий промежуток времени, и я не знаю, какие сведения будут уже открыты, а какие все еще останутся секретными.

– Видите ли, – сказал я осторожно, – я очень хотел бы быть вам полезным, но в то же время всякая незаконная деятельность противоречит моим моральным принципам.

Тут они все трое загалдели наперебой по-арабски, и вдруг Его Высочество на чистом русском языке и даже почти без акцента сказал:

– На ваши принципы мы не посягаем и ни к чему принуждать вас не собираемся. Но когда вы будете возвращаться из прекрасного будущего в наше трудное настоящее, вам, может быть, захочется подумать о себе, о своих детях и внуках.

– Ваше Высочество, – спросил я, потрясенный, – где вас так хорошо учили русскому языку?

– В Московском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, – охотно ответил Высочество и улыбнулся, излучая загадочное сияние.

На этом наш разговор закончился, и через пять минут мои похитители высадили меня вместе с велосипедом и кожаным мешочком на какой-то улице.

Выходя из автобуса, я не удержался и спросил Его Высочество, не из платины ли сработаны его зубы.

– Ну что вы! – отозвался Высочество. – Я достаточно обеспечен, чтобы позволить себе бриллиантовые коронки.

Неожиданная встреча

Вот подумайте, что бы вы купили своим предполагаемым знакомым, если бы вам предстояла поездка на шестьдесят лет вперед?

Я стоял посреди известного в Мюнхене магазина Кауфхоф (по-нашему – Торговый двор) в полной растерянности.

В самом деле, всего полно, а что купить, не представляю. Джинсы? Зажигалки? Калькуляторы? Жвачки?

Жвачки, правда, я слышал, в Советском Союзе появились отечественного производства. Они, конечно, пока уступают западным образцам, но я нисколько не сомневался, что в течение шестидесяти лет, в результате развития технической революции, исторических постановлений партии и правительства и трудового энтузиазма масс, в деле производства предметов жевания и снабжения ими широких слоев населения произойдут коренные перемены к лучшему.

Ну, и насчет джинсов я тоже думал, что через шестьдесят лет какой-нибудь прогресс неизбежно наступит, и уж во всяком случае польские, скажем, джинсы или венгерские по крайней мере в Москве достать будет можно.

Пару джинсов я все же купил. А еще купил какие-то галстуки, шарфики, пару складных по пять марок зонтиков, электронные шахматы, две готовальни и всякую парфюмерию: губную помаду, лак для ногтей, пудру, румяна, тени для век, искусственные ресницы, такие вещи, я знаю, никогда не устаревают.

О себе я, конечно, тоже подумал и купил пленки для фотоаппарата и диктофона, ленты для пишущей машинки, блокноты и набор шариковых ручек. А кроме того, я запасся несколькими парами белья, носками, перчатками, мылом, зубной пастой, новой бритвой «Жиллетт» и двумя пачками лезвий. Все это я купил на тот случай, если эти предметы в будущем окажутся хотя и несравненно лучшего качества, но будут для меня слишком уж непривычными. Увидев майки с надписью «Мюнхен-1982», я, конечно, тут же взял штук пять. Затем в отделе карт и путеводителей я нашел планы разных городов мира, в том числе и Москвы. Решив, что этой вещью тоже следует обзавестись (хотя бы для того, чтобы сравнить Москву сегодняшнюю с Москвой тогдашней), я взял один из планов и стал разглядывать, удивляясь его подробности. В Москве, когда я там жил, тоже издавались подобные планы, но на них указывались только самые главные улицы, да и то не все. А на этом я находил и маленькие переулки, и даже тупики, в которых когда-то жил.

– Улицы имени писателя Карцева там нет? – услышал я сзади насмешливый голос и, вздрогнув, оглянулся.

Передо мной в светло-зеленом плаще и серой шляпе стоял, усмехаясь, Лешка Букашев, мой бывший друг, однокашник и собутыльник. Когда-то мы вместе учились на факультете журналистики, а потом работали на радио, я в литературном отделе, а он в новостях. Вечера мы просиживали в Доме журналистов. Иногда вдвоем, иногда втроем. Он приводил с собой своего приятеля Эдика, курчавого молодого человека, который сам себя называл генетиком и иммортологом. Я этого Эдика спросил при первом знакомстве, занимается ли он продлением жизни. Он сказал, что задача продления жизни для него никакого интереса не представляет, это чепуха, которой занимаются геронтологи. Его же интересует не продленная, а вечная жизнь.

– То есть вы хотите найти эликсир жизни? – спросил я.

Он сказал, что он ищет нечто другое, но для дураков это можно назвать и эликсиром. Я хотел было обидеться, но он тут же смутился и сказал, что, говоря о дураках, он имел в виду не меня, а тех бюрократов, которые, не веря в решаемость проблемы, не дают ему

лаборатории и вообще вставляют палки в колеса. Его однажды даже чуть не посадили за менделизм-морганизм, о нем писали фельетоны в «Крокодиле», и он был благодарен Лешке, который первый по радио отозвался о его опытах положительно.

Вообще Лешка был из тех людей, кто плохого зазря другому не сделает. Насчет хорошего он сам говорил о себе так: «Я готов творить добро в разумных пределах. Хочешь, я одолжу тебе трешку?»

По своим взглядам он был законченный циник и карьерист. Но карьера его сложилась только со второго захода.

Первый заход он начал еще на первом курсе университета.

Я и сейчас хорошо помню его тогдашнего. Среди всех наших студентов он был один из самых старших и самых бедных. Он поступил в университет после армии и еще весь первый курс ходил в солдатских шмотках. Отца своего он не помнил, тот погиб во время войны. Лешкина мать Полина Петровна работала дворничихой на Сивцевом Вражке, где у нее была комната в семь с половиной квадратных метров без окон.

Он мне рассказывал, что с самого своего рождения никогда (даже в армии) не наедался досыта. И в университет он поступил вовсе не для того, чтобы овладеть журналистикой, а чтобы перейти в число людей, которые вкусно едят, хорошо одеваются и которых не бьют в милиции (его однажды били).

Но уже на первом курсе он понял, что люди, которых не бьют в милиции, тоже делятся на разные категории, и сказал мне, что настоящую карьеру можно сделать не по профессиональной, а по «партийно-половой линии». Я думал, что его наблюдения над жизнью имеют отрешенный характер, а потом увидел, что нет, он пытается употребить их для практических целей.

Едва поступив в университет, он тут же начал активничать в комитете комсомола, скоро стал комсоргом нашего курса и кандидатом в члены КПСС. Половой линии он тоже из виду не выпускал и сошелся с одной нашей студенткой, которая была внучкой исторического и героического большевика и, кроме того, как и Лешка, горела на комсомольской работе.

На втором курсе Лешка одновременно собирался жениться на этой студентке и перейти из кандидатов в полноправные члены партии. В это же время его рекомендовали в комсомольские вожди факультета, то есть на пост, начиная с которого иные Лешкины предшественники добрались до самых верхов власти.

И вот его выдвинули и должны были голосовать и исключительно для проформы спросили публику, есть ли у кого-нибудь отвод.

И тут на трибуну вышла заплаканная Лешкина невеста и сказала, что, как ей ни трудно, она должна заявить товарищу Букашеву отвод, потому что он – человек с двойным дном: на публике говорит одно, а в частных разговорах другое. Например, в разговоре с ней он назвал Ленина Вовка-морковка.

Времена были уже либеральные, поэтому из университета Букашева не исключили. Но партийного билета он не получил, вождем его не избрали, и больше того, в комсомоле он остался, но со строгачом в личном деле. Ни о какой большой карьере речи уже быть не могло, и на радио Лешка работал репортером самого низшего разряда, писал о передовиках производства, скоростных плавках и высоких удоях.

Служебное его положение и зарплата росли очень медленно, пока он опять, причем почти случайно, не вышел на партийно-половую линию.

Он где-то познакомился с дочкой заместителя министра иностранных дел и тут уж своего шанса не упустил. Женился, вступил в партию и стал быстро наверстывать упущенное.

Мы с ним тогда поссорились, и судьбы наши пошли в разные стороны. Я стал диссидентом, меня исключили из Союза писателей и даже собирались посадить, а он, наоборот, быстро шел в гору, стал политическим комментатором на телевидении, ездил за границу,

выполняя там какие-то важные поручения, и даже, как я слышал, входил в группу сочинителей, писавших книги за Брежнева. Само собой понятно, что в те годы мы с ним в Москве не встречались, а вот здесь, в Мюнхене, встретились.

Гавайские острова

– Ну привет, – сказал он дружелюбно и протянул руку, которую мне, может, не стоило замечать. Но должен признаться, что моей принципиальности на такие церемониальные движения никогда не хватало.

Пожав его руку, я спросил, как он оказался в Мюнхене.

– Да так, – сказал он, по-прежнему усмехаясь. – Приехал посмотреть, где чего дают.

Желая как-то его уязвить, я спросил, неужели ему не хватает того, что дают в ГУМе.

– ГУМ, дружок, – сказал он мне назидательно и цинично, – существует для тех людей, кто невкусно ест, плохо одевается и кого бьют в милиции. Кроме того, там очереди, а я очереди не люблю. Ты не знаешь, где тут кассеты для видео?

Я сказал, что не знаю, и спросил, что он здесь делает.

– Это неинтересно, – отмахнулся он. – Мелкие интриги.

– А я думал, ты занимаешься большой политикой, – сказал я.

– Большая политика, – возразил он, – в основном из мелких интриг только и состоит.

Мы помолчали. Потом я спросил его, неужели он, такая важная шишка, не боится толкаться здесь в толпе, где может оказаться кто угодно?

– Нет, мой милый, не боюсь. Здесь, среди покупателей, есть несколько человек, которые не сводят с меня глаз и берегут мою жизнь больше, чем свою собственную.

– Ты имеешь в виду, что здесь есть ваши люди? – спросил я, упирая на слово «ваши».

– Ну да, наши и... – Он засмеялся. – И ваши тоже. Слушай, ты куда-нибудь торопишься?

– Нет, – сказал я. – А что?

– Так, может, нам пойти трахнуть по кружке пивка?

– Несмотря на то, что ваши люди за тобой следят, ты не боишься со мной общаться?

– Друг мой, – сказал он с некоторой внутренней гордостью, – уверяю тебя, что общение с тобой мне ничем повредить не может. Но тебе оно тоже ничем не грозит.

– А кто тебя знает, – сказал я, желая его обидеть. – Я же не знаю, с каким заданием ты приехал сюда.

– С каким бы ни приехал, – сказал он, не обижаясь, – ты можешь не сомневаться, что мокрыми делами я не занимаюсь. Для этого есть другие люди, с которыми я, впрочем, незнаком.

Мы сели в мою машину, и я повез его в ту самую пивную в Английском парке, где недавно мы пили с Руди.

Сейчас мы тоже заказали по массу. Заказывал Букашев. Я заметил, что он говорит по-немецки хотя и с акцентом, но без всяких ошибок. Официант был в коротких кожаных баварских штанах с застёжками под коленями. Выслушав Букашева, он крикнул: «Яволь!» – и побежал исполнять заказ, а Букашев стал меня расспрашивать о моей здешней жизни: как я здесь освоился, с кем общаюсь и говорю ли по-немецки. Я сказал, что мой немецкий гораздо хуже, чем его, но на бытовые темы кое-как объясняюсь. По-прежнему усмехаясь, Букашев заметил, что как бы ни недоступен был для меня немецкий язык, он все же не труднее якутского, который при ином повороте судьбы мне пришлось бы осваивать. И даже намекнул, что в решении моей судьбы и ему пришлось принять некоторое участие, причем он как раз был против «якутского» варианта.

– Другие были за? – спросил я.

– Не все, но некоторые были.

– А ты почему был против?

– У меня было три причины, дружок, – ответил он невозмутимо. – Во-первых, я, если ты помнишь, смолоду готов был творить добро в пределах разумного. Во-вторых, у меня к тебе есть некоторые сентиментальные чувства. А в-третьих, мне, честно говоря, нравится, как ты пишешь. Я считаю, что, несмотря на все глупости, которые ты наделал, было бы просто обидно использовать такой талант на лесоповале.

Тут же он стал меня убеждать (и, как мне показалось, вполне искренне), чтобы я не терял время, а писал.

– Для кого писать-то? – спросил я. – С моим читателем вы меня разлучили.

– Ну, не надо преувеличивать, – сказал он. – Отчасти разлучили, отчасти не разлучили. Страна у нас большая, границы длинные, народу ездит до черта, за всеми, кто чего везет, не уследишь. Я сам, между прочим, книжек твоих, так чтоб не соврать, штук пятьдесят-шестьдесят провез. Да и сейчас парочку с собой захвачу.

– Чудные вы, большевики, люди, – сказал я. – Сами писателя травите, сами изгоняете, потом сами же его книги возите контрабандой. Разве это не идиотизм?

– Идиотизм, – согласился охотно Букашев. – Идиотизм чистой воды. Но ничего сделать нельзя. Система, понимаешь ли, идиотская.

Я посмотрел на него недоуменно.

– Значит, ты тоже, – спросил я, – понимаешь, что система идиотская?

– А что? – сказал он. – Что тебя удивляет? Система идиотская, и я ей служу, но сам я не обязан быть идиотом. И другие не идиоты. Все всё понимают, но ничего сделать не могут.

– Странно, – сказал я. – Если вы всё понимаете, почему бы вам не попытаться как-то изменить положение? Власть-то в ваших руках.

– Власть-то в руках. Да только как ею воспользоваться? Ну вот представь себе, допустим, она тебе дана, эта власть. Что бы ты с нею делал?

– У-у! – завопил я так, что проходивший мимо с дюжиной кружек официант покосился на меня испуганно. – Да если бы у меня эта власть оказалась хотя бы на неделю, я прежде всего разогнал бы к черту всю вашу партию.

– Это понятно, – сказал Букашев, моим кощунством нисколько не возмущившись. – Ну разогнал бы, а дальше что?

– Не знаю, что дальше, – сказал я. – И даже знать не очень хочу. Но что бы ни было, все было бы лучше вашей бездарной власти.

– Ишь ты какой! – Он посмотрел на меня сквозь кружку. – Ты, я вижу, стал законченным антикоммунистом.

– Чушь! – возразил я. – Никем я не стал. Против так называемых идеалов коммунизма я ничего не имею. Свобода, равенство, братство, стирание границ, отмирание государства, от каждого по способности, каждому по потребности. Что общего это имеет с тем, что вы наворотили?

– Ты прав, – сказал он, стирая с губ пену. – Общего, прямо скажем, немного. Но ведь нам же нет еще и семидесяти. Для истории это только миг. Дров, правда, наломать успели порядочно и глупостей наделали, потому что торопились и пытались перепрыгнуть через все ступеньки. А так не получается.

– Да и не может получиться, – сказал я. – Утопия есть утопия.

– Откуда ты знаешь, утопия или не утопия? – Букашев допил свое пиво и поставил кружку на стол. – Если напролом лезть, то утопия. А если все продумать и идти шаг за шагом...

– Слушай, – сказал я, – зачем ты мне эту хреновину порешь? Ты можешь в Москве плести чего хочешь по телевидению и здесь дурачить местных простаков, но не меня. Неужели ты надеешься меня убедить, что веришь сколько-нибудь в коммунизм?

– Миленький мой, я вообще ни во что не верю, – усмехнулся он. – Я не верю, а думаю. И мне кажется, что какие-то шансы еще есть.

– Шансы? – я задохнулся от возмущения. – После всего того, что вы натворили? Какие там шансы?

– Я тебе говорю: какие-то. Маленькие. Может быть, даже совсем ничтожные. Но они есть. Слушай, браток, – схватил он за штаны пробежавшего мимо официанта, – притарань-ка нам еще пару пивка.

– Яволь! – охотно отозвался официант и со всех ног кинулся исполнять заказ.

Я изумленно посмотрел ему вслед и повернулся к Букашеву.

– Леша! – назвал я его впервые за нашу встречу по имени. – Что происходит? Ты же ему по-русски сказал! Как же он тебя понял?

– Да? – переспросил он озадаченно. – Я сказал по-русски? А, ну значит, это кто-то из наших. Не важно, не обращай внимания. Это тебя не касается.

Официант принес и поставил на стол еще два масса.

– Застегни пуговицу! – сказал ему Букашев насмешливо.

Рука официанта невольно дернулась к пуговице. Но он тут же опомнился.

– Их ферштее зи нихт!² – сказал он резко и отошел.

– Вот и работай с такими! – вздохнул Букашев. – Прокалываются на любой ерунде. Так вот что я тебе скажу. Ты знаешь, я идиотом никогда не был. Во всякие возвышенные бредни не верил. Но и врать мне тебе незачем. Нет никакого резона. И если я говорю о шансах, значит, я это дело как-то обдумывал. Да и не только я. Ты, я знаю, о нашем руководстве очень низкого мнения, но поверь мне, что там тоже есть люди, у которых шарики вертятся.

Я сбегал по малому делу.

– Знаешь что, – сказал я, вернувшись, – я не знаю, вертятся у вас шарики или не вертятся, я знаю только, что это все равно не имеет никакого значения. Система прогнила, окостенела, вы все это сами хорошо знаете, но ни на какие положительные действия вы уже все равно не способны.

– А вот в этом, старина, ты как раз и ошибаешься! – с неожиданной горячностью возразил он. – На что-то мы способны. И что-то сделаем.

– Что вы сделаете? – Я посмотрел на него в упор.

– Какие-то идейки имеются, – сказал он, не отводя взгляда. – Но дело, как ты сам понимаешь, серьезное. В такой многоходовой комбинации как бы не ошибиться. Вот если бы можно было заглянуть вперед лет, скажем, на пятьдесят-шестьдесят и узнать, что из всего из этого получилось. – При этом он внимательно посмотрел на меня и засмеялся.

Конечно, последняя фраза меня насторожила. Была она сказана случайно или с намеком? Если с намеком, то что Букашев хотел от меня?

Я ожидал от него дальнейшего развития темы, но он о ней как будто забыл и стал опять расспрашивать меня о моей жизни, попутно рассказывая и о своей.

Потом спросил о моих планах на лето, и я не понял, был этот вопрос задан с какой-то задней мыслью или просто из любопытства.

Стараясь себя никак не выдать, я сказал, что вообще-то собираюсь отдохнуть и, возможно, в ближайшее время махну куда-нибудь... Ну, скажем... (я ляпнул наобум) в Гонолулу.

– Гонолулу! Гавайские острова! – мечтательно произнес Букашев. – Ты знаешь, где только я уже ни шатался, а на Гавайях еще не бывал. Должно быть, хорошо там. Пальмы, солнце, море и гавайки с гавайскими гитарами. Слушай, а ты мою бывшую любовь давно не видал?

– Давно, – сказал я.

² Ich verstehe sie nicht. – Я вас не понимаю (нем.).

– Говорят, она стала очень религиозна.

– Со временем люди меняются, – сказал я уклончиво.

– Чепуха! – возразил он. – Они меняют предмет поклонения. Но при этом остаются такими же, как были. Да, а тогда она мне с Вовкой-морковкой здорово подсурипила. Я уж думал, и не вылезу. Ну ладно, дружок, рад был тебя повидать. Серьезно говорю, без дураков. Хочешь в Москве кому-нибудь чего-нибудь передать?

У меня, конечно, было кому чего передать, но не через него же.

– Слушай, – сказал я. – А правду про тебя говорят, что ты майор КГБ?

– Ну да, вроде, – согласился он с удовольствием. – Точнее сказать, генерал-майор. Но тебе-то что? Неужели ты думаешь, я с тобой встретился, чтоб на тебя стучать? Нет, братишка, я играю в другие игры и ставлю по-крупному.

Он подозвал официанта и, несмотря на мое сопротивление, расплатился за нас обоих.

На обратном пути я, поглядывая в зеркало, заметил, что за нами, особенно даже не скрываясь, идет зеленый «Фольксваген», но номер у него не франкфуртский, а кельнский. Я сказал об этом Букашеву, но он отмахнулся.

– Это наши. Не беспокойся, они едут не за тобой, а за мной.

Он попросил меня высадить его у «Фир Ярес Цайтен», самой роскошной гостиницы Мюнхена.

Уже выставив ногу на тротуар, он вдруг спросил, не может ли он как-нибудь при случае мне позвонить.

– Когда ж ты мне позвонишь, если я уезжаю? – спросил я.

– А, ну да! – сказал он. – В Гонолулу. Я и забыл. Но ты ж не навек туда едешь. – При этом он пристально на меня посмотрел. – Когда-нибудь ты вернешься и, может быть, даже захочешь мне рассказать, как там живут гонолульцы. Так я тебе позвоню. Номер твоего телефона у меня есть.

Было похоже, что он знает обо мне больше, чем я думал. Впрочем, меня это особо не волновало.

Отъезжая от гостиницы, я увидел припаркованный за углом зеленый «Фольксваген». Потом, по дороге домой, я все время поглядывал в зеркало и сделал несколько проверочных маневров с заездом в глухие переулки и тупики. «Фольксваген» не появлялся, никаких других признаков слежки я не заметил тоже.

По дороге я включил приемник, который у меня всегда настроен на первую программу советского радио. Передавали концерт по заявкам тружеников моря. Сначала неизвестный мне чтец-декламатор читал отрывки из «Медного всадника», потом оркестр Большого театра исполнил танец маленьких лебедей из балета Чайковского.

– А теперь, – объявила дикторша сладким голосом, – в исполнении народной артистки Советского Союза... прозвучит украинская народная песня...

– «Гандзя-рыбка»! – сказал я вслух и как в воду глядел.

Сколько я себя помню, во всех концертах, демонстрирующих небывалый расцвет многонационального искусства в моей стране, всегда исполнялись одни и те же песни. Если русские, то обязательно или «Среди долины ровныя», или «Вдоль по Питерской», а украинские – или отрывок из «Наталки-полтавки», или вот эта самая «Гандзя».

Як на мэнэ Гандзя глянэ,
В мэнэ зразу сэрце вьанэ,
Ой, скажите ж, добри люды,
Що зи мною тепер будэ...

Не знаю почему, но именно «Гандзя» исполнялась на всех торжественных концертах, посвященных партийным съездам и Дню милиции или еще чему-то подобному, причем исполнительница во всех случаях и во все времена была как будто одна и та же: высокая и полная тетя в черном бархатном платье до пят и с большим вырезом на пышной груди. На грудь эту она клала руки, как на подставку, заламывала пальцы и, лукаво жмурясь, заливалась инфантильным меццо-сопрано:

Гандзя – рыбка,
Гандзя – птычка,
Гандзя – цыця, молодычка...

Боже мой, думал я, неужели в этой стране и вправду никогда ничего не изменится?

Звонок из Торонто

Я был в самом разгаре сборов, когда вдруг раздался звонок из Канады.

– Привет, старик, говорит Зильберович.

– А, – говорю, – привет, как жизнь?

– В трудах, – просто отвечает он. – Ты чем-нибудь занят?

– В каком смысле? Сейчас или вообще?

– Ну, сейчас и вообще.

– Ну, вообще-то говоря, занят.

– Так вот, бросай все, бери билет, и чтоб завтра ты был в Торонто.

Я просто опешил от такого предложения.

– Ты что, – говорю, – милый, одурел, что ли, совсем? Чего это я вдруг все брошу и из Мюнхена помчусь в Торонто? Да что же мне, делать, по-твоему, нечего, в такую-то даль переться?

– Старик, этот вопрос не обсуждается. В Торонто зарентуешь кар, какой-нибудь небольшой, незаметный, выедешь на хайвэй, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно два майла, на шулдере увидишь голубой «Шевроле». На крыше антенна, на заднем стекле жалюзи, номер замазан грязью. Фолуй за этим «Шевроле», особо не приближайся, но из виду не выпускай. Все!³

– Идиот! – закричал я. – Прежде чем отдавать приказы, ты хоть бы по-русски научился как-нибудь говорить.

Но эти слова услышала только моя жена, трубка на другой стороне планеты была положена.

– Что такое? – спросила жена встревоженно. – Кто это звонил?

– Не поняла, что ли? Конечно, Зильберович.

– И чего он хотел?

Я рассказал.

Жена вспылила. Не столько на Зильберовича, сколько на меня. Да что это такое! Да с какой стати? Может быть, мы вообще уже прощаемся навсегда, у нас осталось несколько дней, но ты и их готов потратить на кого угодно, только не на семью. Это ты сам виноват, ты сам себя так поставил, что они с тобой позволяют себе обращаться как с мальчиком. Подумаешь, он вообразил себе, что он пуп земли, а ты к нему будешь бегать, как только он тебя пальцем поманит.

Это она, конечно, имела в виду не Зильберовича. Я ей сказал, что я сам глубоко возмущен, на каждый призыв вовсе откликаться не собираюсь и ни в какое Торонто, разумеется, не поеду.

Я говорил это вполне искренне, злясь больше всего на себя самого и одновременно удивляясь той странной психической силе, которая действовала на меня, несмотря на разделяющее нас фантастическое расстояние.

Эта сила меня каким-то образом гипнотизировала, выводила из состояния равновесия, никакие реально объяснимые причины не вынуждали меня ей подчиниться, но не подчиниться ей я мог, только оказав отчаянное внутреннее сопротивление. Непонятно?

Попробую объяснить попроще.

³ Зильберович, как многие эмигранты, пользуется языком, загрязненным искаженными словами местного лексикона: car – автомобиль, highway – автострада, exit – выезд, mile – миля, shoulder – в данном контексте обочина, follow – следовать за кем-то.

Зильберович звонил мне не от своего собственного лица (собственного лица у него никогда не было), по поручению другого человека. Этому другому я не был подчинен по службе, не зависел от него материально, на положении моих дел его отношение ко мне никак не могло отразиться.

Ну если бы я его хоть как-нибудь почитал и по этой причине готов был бы кидаться со всех ног, выполняя его распоряжения, так ведь и этого ж не было. Больше того, в моих глазах он со своими претензиями на владение окончательной истиной вообще выглядел фигурой комичной.

И все-таки, когда он меня к чему-то призывал, я просто цепенел и чувствовал, что отказать ему выше моих сил.

Сейчас было то же самое.

Как я должен был реагировать на звонок Зильберовича? А просто никак. Кому-то взбрело в голову, что я должен все бросить и куда-то нестись. А мне кажется, что я никому ничего не должен, не должен даже и отвечать. У меня своих дел по горло.

Но что-то меня нервировало и склоняло к мысли, что не ответить совсем – неудобно. Понося последними словами и Зильберовича, и его, так сказать, патрона, а отчасти и себя самого, я сочинял в уме варианты отказа, начав с самого высокомерного (по телеграфу): Кому надо тот едет.

Коротко, четко и вразумительно. Но нереалистично. Потому что представить себе ситуацию, в которой Он едет ко мне, даже попросту невозможно, а что я к Нему еду, это и представлять нечего.

Но почему, почему, почему?

Почему я не могу устоять перед этим человеком, который мне ни для чего не нужен?

– Что ты ходишь такой взвинченный? – закричала на меня жена. – Что ты куришь одну сигарету за другой и что ты бормочешь?

– Разве я что-то бормочу? – удивился я.

– Не только бормочешь, но и строишь рожи, и фигу кому-то крутишь. Если ты не можешь просто послать призывальщиков подальше, ответь как-нибудь вежливо. Скажи, что ты заболел, что у тебя какая-нибудь конференция, что тебе надо книжку дописать.

– Ну да, – усомнился я, – а он скажет: а кому нужны твои книжки?

– Ну если уж он так скажет, то ты ему тоже можешь сказать: а кому нужны твои книжки? На хамство всегда нужно отвечать только хамством. Ты сам себя ставишь на последнее место, поэтому и другие тебя ставят туда же.

Она была права, как всегда.

Но когда она уехала в банк, я позвонил в аэропорт просто на всякий случай.

Как я и предполагал, никаких прямых рейсов из Мюнхена в Торонто вовсе не существует, а лететь с пересадкой во Франкфурте – это уж слишком. Чего ради я должен преодолевать такие препятствия?

Хотя если разобраться, не впадая в горячку, то пересадка без вещей дело не такое уж трудное. К тому же во Франкфурте у меня было одно, я бы так сказал, интимное дельце, ради которого просто так я бы, конечно, ни в жизнь не поперся. Но если заодно...

Новый Леонардо да Винчи

С Леопольдом Зильберовичем (по-домашнему – Лео) я познакомился в начале шестидесятых годов через его сестру Жанету, с которой я в то время учился в университете. В литературных (или, может быть, точнее сказать, околотитулатурных) кругах того времени Лео был фигурой одной из самых заметных.

Длинный и длинноволосый, в засаленном темном костюме с заштопанными локтями и пузырями на коленях, он неутомимо передвигался по Москве, бывая, кажется, одновременно и в редакциях самых либеральных по тем временам журналов, и в Доме литераторов, и на всех поэтических вечерах, и на всех премьерах.

Он был лично знаком со всеми сколько-нибудь известными поэтами, прозаиками, критиками и драматургами, которых (каждого в отдельности) покорял знанием и тонким пониманием их творчества. Каждому он мог при случае процитировать его четверостишие, строку из романа или реплику из пьесы и дать процитированному иногда неожиданное, но оригинальное и обязательно лестное для автора толкование.

Я не помню, чем он занимался официально (кажется, был где-то внештатным литконсултантом), но главным его призванием было открытие и пестование молодых талантов.

Его рыжий, вытертый, покрытый жиром и какой-то коростой портфель всегда был до отказа набит стихами, прозой, пьесами и киносценариями молодых гениев, которых он где-то неустанно выкапывал и рекламировал.

Много лет спустя, попав на Запад, я встречал самых разных литературных агентов, которые сидят в больших офисах, рассылают издателям рукописи своих клиентов, то есть ведут большой и прибыльный бизнес.

В наших условиях Зильберович делал то же самое, но без всякой корысти. Больше того, будучи бедным как церковная крыса, он сам, как мог, подкармливал открытых им гениев, не рассчитывая даже на то, что они когда-нибудь скажут спасибо.

Как только открытый им когда-то талант начинал печататься и не нуждался в пятаке на метро, он тут же Зильберовича выбрасывал из головы, но Лео ничего и не требовал. Его альтруизм был настолько чистого свойства, что он сам себя никогда не считал альтруистом.

Брошенный одним гением, он тут же находил другого и носился с ним как с писаной торбой.

Со мной он, между прочим, тоже когда-то носился.

Он был одновременно моим поклонником, оруженосцем и просветителем.

Все мною написанное он помнил почти наизусть.

В те времена, когда мне часто приходилось читать свои опусы в самых разных компаниях, Лео, конечно, всегда там присутствовал. Он устраивался где-нибудь в углу и, держа свой портфель на коленях, слушал внимательно, а когда дело доходило до какого-нибудь эффектного пассажа или удачной игры слов, Лео, предвкушая это место, заранее начинал улыбаться, кивать головой, переглядывался с собравшимися, поощряя их обратить внимание на то, что сейчас последует. И если публика на это место тоже реагировала положительно, Зильберович и вовсе расплывался в улыбке и испытывал такой прилив гордости, как будто это он такого меня породил.

Вспоминая тот период своей жизни, я думаю, что для писателя, конечно, самое главное – иметь природные данные, но в самом начале пути очень важно встретить такого вот Зильберовича.

Наш роман с Зильберовичем кончился, когда он встретил Сим Сымыча Карнавалова.

Услышав первый раз эту фамилию, я сказал, что она несовместима со сколько-нибудь приличным писателем. Такая фамилия может быть у конферансье или бухгалтера, но у писателя – никогда.

Тогда я даже представить себе не мог, что со временем привыкну к этой фамилии и она мне будет казаться не только нормальной, но даже вполне значительной.

Я помню первый восхищенный рассказ Зильберовича о бывшем зэке, который, работая истопником в детском саду, пишет потрясающую (определение Лео) прозу. Этот человек, зарабатывая шестьдесят рублей в месяц, живет исключительно аскетически, не пьет, не курит, ест самую неприхотливую пищу. Он пишет с утра до ночи (с перерывами только на сон, еду и подбрасывание угля), не давая себе никаких поблажек, практически ни с кем не общаясь, потому что, во-первых, боится стукачей, а во-вторых, дорожит каждой своей минутой.

Но при этом с ним, Зильберовичем, он (Лео подчеркнул это особо) не только говорил полтора часа подряд, но даже прочел ему вслух пару страниц из какого-то своего сочинения.

– Ну и как? – спросил я с затаенной ревностью.

– Старик, – торжественно сказал Зильберович, – поверь моему вкусу, это настоящий гений.

Причем сказал это таким тоном, по которому нетрудно было понять, что хотя я тоже в некотором смысле вроде бы гений, но все же, может быть, не совсем настоящий.

Зильберович жил тогда на Стромьнке. С матерью Клеопатрой Казимировной и с Жанетой. У них была отдельная двухкомнатная квартира. Эту невиданную по тем временам роскошь они имели потому, что дедушка Лео, Павел Ильич Зильберович (партийная кличка Серебров), был героем Гражданской войны, на которой, к счастью для следующих поколений Зильберовичей, и погиб. Если бы он погиб позднее в лагерях, жилищные условия его внука вряд ли были бы такими хорошими. Мать и сестра Лео жили в одной комнате, а у него была своя, отдельная. Она была вся увешана портретами дорогих его сердцу людей. На самой большой, увеличенной со старого снимка фотографии был изображен дедушка Зильберович, лет двадцати пяти, с чапаевскими усами, в кожанке и с маузером на боку. Дедушка Зильберович был единственным военным в коллекции портретов. Остальные были любимыми писателями Лео, начиная с Чехова и кончая мной.

В этой комнате мы часто встречались, я читал ему свои первые рассказы.

Да и не только я. Здесь бывали многие поэты и прозаики моего поколения, и даже Окуджаву я первый раз увидел и услышал именно у Зильберовича.

Хотя я с первого раза несколько приревновал Зильберовича к Карнавалову, но я не подумал, что они могут сойтись так близко. Однако они сошлись.

Правда, не сразу.

Карнавалов, судя по всему, был довольно-таки нелюдим и новых знакомых подпускать к себе не спешил. Но и от Зильберовича, если он в кого-то влюблялся, тоже было отбиться не так-то просто.

Он звонил, приходил, предлагал свои услуги: что-нибудь отнести, принести и даже перепечатать рукопись.

Однажды, часа в два или в три ночи, мне позвонила Жанета: пропал Лео. В семь часов ушел и до сих пор нет. Уже звонили в бюро несчастных случаев, мать лежит с приступом, Зильберовича нет.

– Ну и что, что нет? – сказал я. – Первый раз, что ли, он поздно приходит?

Она сказала: нет, не первый, но у них такой уговор – если он задерживается, он звонит не позже половины двенадцатого.

Утром позвонил Зильберович и попросил меня немедленно приехать к нему.

Оказывается, он всю ночь был у Карнавалова. Тот дал ему, не вынося из дому, прочесть свой роман. Зильберович читал до утра и сейчас был так счастлив, как будто провел первую ночь с любимой женщиной.

– Старик, поверь мне, – Лео выдержал паузу, – это новый Толстой.

Признаюсь, эта его оценка меня довольно сильно задела. Если бы он назвал Карнавалова Гоголем, Достоевским, Чеховым, да хоть Шекспиром, это сколько угодно. Но дело в том, что Толстым раньше он звал меня. А предположить, что на земле могут существовать одновременно два Толстых, и тем утешиться я, понятно, не мог.

Я, естественно, спросил Лео, что же за роман написал этот новый Толстой.

Лео охотно ответил, что в романе этом 860 страниц, а называется он «КПЗ».

– КПЗ? – удивился я. – О милиции?

– Почему о милиции? – нахмурился Лео.

– Ну что такое КПЗ? Камера предварительного заключения?

– А, ну да, ну конечно, – сказал Лео, – но роман этот не о милиции. И вообще это не просто роман. Это всего лишь один том из задуманных шестидесяти.

Я подумал, что я ослышался, и попросил Лео повторить цифру. Он повторил. Я спросил тогда, не сидел ли этот новый Толстой в психушке. Лео сказал, что, конечно, сидел.

– Естественно, – сказал я. – Если человек задумал написать шестьдесят романов по тысяче страниц, ему в психушке самое место.

Будучи человеком очень прогрессивных взглядов, Лео взбеленился и стал на меня кричать, что с такими высказываниями мне следует обратиться куда-нибудь в КГБ или поискать себе дружков среди врачей Института имени Сербского. Там меня поймут. А он, Лео, меня не понимает.

Мы тогда очень сильно повздорили, я хлопнул дверью и ушел, думая, что навсегда. Но это было не в первый и не в последний раз. На другой день Лео пришел ко мне с бутылкой и сказал, что вчера он погорячился.

Но когда мы выпили, он мне опять стал талдычить про своего гения и добрежался до того, что это не только Толстой, а еще и Леонардо да Винчи. Он такой оригинальный человек, что свои романы, учитывая их огромность как по объему, так и по содержанию, называет не романами и не томами, а глыбами.

– Вся большая зона, – сказал Зильберович, – будет сложена из шестидесяти глыб.

– При чем тут большая зона? – не понял я.

Зильберович объяснил, что «Большая зона» – это название всей эпопеи.

– А, значит, опять о лагерях, – сказал я.

– Дурак, лагерь – это малая зона. Впрочем, малая зона как часть большой зоны там тоже будет.

– Понятно, – сказал я. – А КПЗ – часть малой зоны. Правильно?

– Вот, – сказал Зильберович, – типичный пример ординарного мышления. КПЗ – это не часть малой зоны, а роман об эмбриональном развитии общества.

– Что-о? – спросил я.

– Ну вот послушай меня внимательно. – Зильберович сбросил пиджак на спинку стула и стал бегать по комнате. – Представь себе, что ты сперматозоид.

– Извини, – сказал я, – но мне легче себе представить, что ты – сперматозоид.

– Хорошо, – легко принял новую роль Зильберович. – Я – сперматозоид. Я извергаюсь в жизнь, но не один, а в составе двухсотмиллионной толпы таких же ничтожных хвостатых головастиков, как и я. И попадаем мы сразу не в тепличные условия, а в кислотно-щелочную среду, в которой выжить дано только одному. И вот все двести миллионов вступают в борьбу за это одно место. И все, кроме одного, гибнут. А этот один превращается в человека.

Рождаясь, он думает, что он единственный в своем роде, а оказывается, что он опять один из двухсот миллионов.

– Что за чепуха! – сказал я. – На земле людей не двести миллионов, а четыре миллиарда.

– Да? – Лео остановился и посмотрел на меня с недоумением. Но тут же нашел возражение: – На земле конечно. Но речь-то идет не о всей земле, а только о нашей стране, почему эпопея и называется «Большая зона».

– Слушай, – сказал я, – ты плетешь такую несуразицу, что у меня от тебя даже голова заболела. Большая зона, КПЗ, сперматозоиды... Что между этими понятиями общего?

– Не понимаешь? – спросил Лео.

– Нет, – сказал я, – не понимаю.

– Хорошо, – сказал Зильберович терпеливо. – Пробую объяснить. Вся эпопея и каждый роман в отдельности – это много самых разных пластов. Биологический, философский, социальный и политический. Поэтому и смесь разных понятий. Это, кроме всего, литература большого общественного накала. Поэтому внутриутробная часть жизни человека рассматривается как предварительное заключение. Из предварительного заключения он попадает в заключение пожизненное. И только смерть есть торжество свободы.

– Ну что ж, – сказал я. – Жизнь, тем более в наших конкретно-исторических условиях, можно рассматривать как вечное заключение. А что, эти сперматозоиды описываются как живые люди?

– Конечно, – сказал Зильберович почему-то со вздохом. – Обыкновенные люди, они борются для того, чтобы попасть в заключение, но проигравшие обретают свободу. Понятно?

– Ну да, – сказал я. – Так более или менее понятно. Хотя немножко мудрено. А вот ты мне скажи так попроще, этот роман или все эти романы – они за советскую власть или против?

– Вот дурак-то! – сказал Зильберович и хлопнул себя по ляжке. – Ну конечно же, против. Если бы они были за, неужели я тебе о них стал бы рассказывать!

Я не хочу быть понятным превратно, но когда Лео увлекся этим Леонардо Толстым, стал бегать к нему и говорить только о нем, я воспринял это как неожиданную измену. Дело в том, что я, сам того не осознавая, привык иметь Лео всегда под рукой как преданного поклонника, которого всегда можно было послать за сигаретами или за бутылкой водки и выкинуть из головы, когда он не нужен. Я привык, что в любое время могу прийти к нему, прочесть ему что-то новое и выслушать его восторги. А тут он как-то резко стал меняться. Нет, он по-прежнему меня охотно выслушивал и даже хвалил, но уже не так. Уже не здорово, не гениально, не потрясающе, а хорошо, удачно, неплохо. А вот у Карнавалова...

И лепит мне из Карнавалова какую-то цитату.

Больше того, с тех пор, как он стал приближенным самого Карнавалова, в его отношении ко мне появилась какая-то барственная снисходительность.

Все это я вспоминал в самолете, летевшем по маршруту Франкфурт – Торонто.

Гений из Бескудникова

Сколько бы я ни ревновал, ни скрывал свою зависть за иногда удачными, а иногда и совсем плоскими остроумиями, этот разысканный Зильберовичем на свалке новоявленный гений волновал мое воображение. И когда Зильберович с демонстративной важностью сообщил мне, что Сим Семыч благодаря его, Зильберовича, личной протекции согласился меня принять, я в свою очередь весьма иронически поблагодарил за оказанную честь и объяснил Зильберовичу, что соглашаются принять обычно только большие начальники, а разные истопники и прочие мелкие люди не соглашаются принять, а просят, чтобы к ним зашли.

– И вообще, я гениев видел достаточно, – сказал я, – и они меня не очень-то интересуют. Но с тобой я могу сходить просто из любопытства и не из чего более.

Разумеется, я рисковал тем, что Зильберович психанет и не возьмет меня, но риск, честно говоря, был, в общем-то, небольшой.

Зная Зильберовича как облупленного, я понимал, что ему тоже хочется пустить пыль в глаза и мне, и Сим Семычу, показав нам обоим друг друга. Потому что, носясь со своим Леонардо, он все же иногда вспоминал, что и я тоже чего-то стою.

Короче говоря, как-то зимой к вечеру мы собрались и, прихватив с собой бутылку «Кубанской», поперлись к черту на рога в Бескудниково.

Вывалились из электрички на обледенелую платформу: колючий снег в морду сыплет, темень (все фонари перебиты), пахнет промерзшей помойкой и еще чем-то мерзким.

А потом под лай местных собак тащились по каким-то закоулкам и колдобинам, где не сломать ногу можно только при очень большой способности к эквилибристике.

Ну, в конце концов нашли этот детский сад и этот жуткий подвал, пропахший мышами и потной одеждой.

В одной из комнат подвала и жил этот новоявленный гений и кумир Зильберовича.

Комната метров примерно семь-восемь квадратных. Стены покрыты зелеными обоями, местами ободранными, а местами сырыми и заиндевевшими. Под самым потолком маленькое окошко, да еще и с решеткой, как в камере. Обстановка: железная ржавая кровать, покрытая серым суконным одеялом, кухонный некрашенный стол с шкафчиком для посуды и выдвижным ящиком, в котором лежали самодельный нож, сделанный из полотна слесарной ножовки, алюминиевая вилка, давно потерявшая один из своих четырех зубов, и кружка, тоже алюминиевая, литая, с выцарапанными на ней инициалами хозяина «С. К.».

Туалетная полочка представляла собой кусок доски, обитой кровельным железом, когда-то выкрашенным в голубое, но краска сильно облезла. На полке лежал кусок зеркала размером с ладонь, часть безопасной бритвы (зажимы для лезвия и само лезвие, но без ручки), помазок (тоже без ручки – одна щетина), а в прямоугольной консервной банке из-под шпрот лежал размокший кусок мыла, такого черного и такого вонючего, какой и в советских магазинах мог бы найти не каждый.

Украшений на стенах никаких, кроме маленькой иконки в дальнем углу.

Еще были две лампочки. Одна, голая, под потолком и другая, так сказать, настольная. Собственно говоря, это была даже не лампочка, а какая-то безобразнейшая конструкция, скрученная из проволоки и обернутая тляп-ляп газетой с горелыми пятнами. Следует еще упомянуть две облезлые табуретки, тумбочку и большой кованый сундук с висячим замком. В углу у дверей садовый умывальник с алюминиевым тазом под ним и вешалка, на которой висела пропитанная угольной пылью телогрейка. Другая телогрейка, почище, была на хозяине. А еще были на нем ватные штаны и валенки с галошами.

Был он роста высокого, сутулый, щеки впалые, зубы железные.

– Познакомься, Семыч, это мой друг. Он, между прочим, в отличие от тебя, член Союза писателей, – громко сказал Зильберович в обычной своей развязной манере.

Семыч неуверенно протянул мне руку и вместо «здрасьте» сказал:

– Хорошо.

И при этом глянул на меня быстро и настороженно, как это обычно делают бывшие зэки.

Говорят, у современных самолетов есть специальная локаторная система распознавания встречаемых в воздухе объектов: свой – чужой.

У зэков это не система, а выработанное годами чутье. У меня есть основание думать, что Семыч не принял меня за чужого. Хотя повел себя для первого знакомства довольно странно. Без видимой иронии, но с какой-то все-таки подковыркой стал спрашивать:

– А вы, значит, вот просто официально считаетесь писателем? И у вас даже документ есть, что вы писатель?

– Ну да, – сказал я, – да, считаюсь. И даже есть документ.

– А вы свои книги пишете прямо на печатном станке или как?

– Нет, – говорю, – ну зачем же. У меня есть пишущая машинка «Эрика», я на ней так вот чик-чик-чик и пишу.

Зильберович почувствовал, что у нас разговор уходит в какую-то нехорошую сторону, и перебил:

– Семыч, а ты вот этой ручкой пишешь?

Только когда он это спросил, я заметил, что на столе рядом с лампой стояла чернильница-невыливайка, а из нее торчала толстая деревянная ручка с обкусанным концом. Последний раз я такую видел в конторе какого-то колхоза на целине.

– Да-да, – сказал Семыч и взглянул на меня с вызовом. – Именно ей и пишу.

– Семыч, – сказал Зильберович, – а ведь я ж тебе подарил самописку. Где она?

– А, самописку. – Он выдвинул ящик стола и извлек пластмассовый футлярчик с маркой «Союз».

– А зачем же ты пишешь этой дрянью? – спросил Зильберович.

Откровенно говоря, манеры Зильберовича меня тоже иногда раздражали, но в данном случае он, мне кажется, не сказал ничего особенного. Но Семыч почему-то вдруг разозлился, посмотрел на бедного Лео, как будто хотел прожечь его взглядом насквозь.

– Такой дрянью, – сказал он с ненавистью, – и даже худшей дрянью, и даже гусиной дрянью написана вся мировая литература. Никакими не машинками, не эриками и не гариками, а такой вот дрянью.

Потом он все же подобрел и даже разрешил Зильберовичу открыть бутылку. Сам он, правда, выпил всего ничего, а остальное выдули мы с Зильберовичем. Причем пили по очереди из хозяйской кружки. И закусили плавленым сырком с луком.

Мне казалось, что наши отношения уже установились, но когда Зильберович попросил Семыча что-нибудь почитать, тот опять взбеленился и, стреляя в Лео глазами, стал утверждать, что читать ему нечего, потому что он вообще ничего не пишет. А если что-то иногда и маракует, то исключительно для себя. Видно, он мне все-таки не доверял.

Зато Зильберовичу доверился настолько, что даже сообщил ему жгучую тайну своего сундука. Тайна заключалась в том, что все тринадцать написанных глыб и заготовки к сорока семи ненаписанным хранились именно в этом сундуке под висячим амбарным замком. О чем, разумеется, Зильберович (большой хранитель тайн!) и поведал мне той вьюжной ночью, когда мы, спотыкаясь в заледеневших колдобинах, плелись назад к электричке.

– Ну теперь ты понял? – сказал Зильберович, волнуясь. – Ты понял, что Семыч – гений?

– Мистер Зильберович, – сказал я ему на это, – а вы не могли бы, хотя бы по пьянке, любезно объяснить мне, какое у вас отношение к женскому полу?

– Что ты имеешь в виду? – Лео остановился и повернул ко мне свое синее в темноте лицо с длинным носом.

– Я имею в виду, почему ты при твоих внешних данных и с таким выдающимся рубильником, который, согласно легенде, должен соответствовать другим частям тела, бегаешь все время за гениями, хотя мог бы бегать за бабами? Скажи честно, ты педик или импо?

– Слушай, – сказал Зильберович, ежась от холода и придерживая отвороты пальто. – А тебе обязательно все нужно знать?

– Мне не нужно, но интересно, – сказал я. – Но ты можешь не отвечать.

– Могу не отвечать, – сказал он, – а могу и ответить. Или, вернее, спросить. Вот ты можешь мне сказать, зачем все это нужно и что в этих бабах хорошего?

– Ну ты даешь! – сказал я, немного опешив. – Хорошего, конечно, ничего нет, но интересно. Зов природы. Да ты что, дурак? – рассердился я. – Не понимаешь?

– Нет, – сказал Зильберович. – Не понимаю. Ты думаешь, я ненормальный? Нормальный. У меня все работает, и я все испробовал. Ну да, ну приятно. Но из-за пяти минут удовольствия столько суеты до и после.

– А ты, значит, с бабами суетиться не хочешь?

– Не хочу, – тряхнул головой Зильберович.

– А с гениями хочешь?

– А с гениями хочу.

– Ну и дурак, – сказал я Зильберовичу.

– Сам дурак, – ответил мне Зильберович. Это был единственный раз, когда я поинтересовался личной жизнью Зильберовича.

Вожак и стадо

Сейчас я вовсе не собираюсь пересказывать всю историю Семыча, она достаточно хорошо и широко известна. О Карнавалове уже написаны тысячи или даже десятки тысяч статей, диссертаций и монографий. О нем было даже снято несколько документальных фильмов и один художественный (правда, довольно слабый). Все люди моего поколения хорошо помнят, как Карнавалов, начав печататься за границей, тут же стал всемирно известным. Вся советская власть – и Союз писателей, и журналисты, и КГБ, и милиция – вступила с ним в сражение не на жизнь, а на смерть, но ничего не могла поделать.

В самом начале, когда он напечатал первую свою глыбу, власти просто растерялись. Это было время, когда наше правительство заигрывало с Западом, рассчитывало там что-нибудь купить и украсть и после всех историй с Солженицыным и другими каких бы то ни было скандалов с писателями избегало.

Поэтому было указано с Карнаваловым поступить гуманно. Провести с ним беседу, пусть покается в «Литературной газете» и даст слово больше на Западе не печататься. Поэтому, когда его первый раз вызвали к следователю, разговор был мягкий. Следователь оказался очень большим почитателем литературного таланта автора глыб.

– Я, конечно, не специалист, – сказал следователь, – я просто читатель. Но мне ваш роман очень понравился. Над некоторыми страницами я даже плакал. – При этом он даже пошмыгал носом и протер очки, показывая, как он плакал. – Жаль только, что роман опубликован в очень неудачное время. В другое время мы бы это даже приветствовали, но сейчас, когда международная обстановка осложнилась, наши враги, конечно, постараются использовать ваш роман в очень нехороших целях.

Чтобы этого не случилось, следователь предложил немедленно дать международным империалистам самый решительный отпор на страницах «Литературной газеты».

Семыч обещал это сделать, но, придя домой, созвал прямо у себя в котельной пресс-конференцию для иностранных журналистов. И произнес перед ними очень сильную речь против коммунизма и коммунистов, которых он называл или заглотными коммунистами, или просто заглотчиками.

Резонанс был необычайный. Семыч немедленно прославился не только как самый лучший в мире писатель, но и герой. Об этом отважном русском заговорил весь мир. А как только мир утихал и власти рассчитывали, что когда совсем всякий шум прекратится, тут же его и слопать, он, не будь дурак, немедленно печатал новую глыбу. Шум начинался еще больший, и предполагаемый его арест мог вызвать международный скандал крупнее даже, чем вторжение в Чехословакию или Афганистан. Власти крутились и так и сяк. Предлагали ему уехать по-хорошему. Он не только не сделал этого, но, помня историю с Солженицыным, обратился ко всему миру с просьбой не соглашаться принимать его, если заглотчики вздумают выпихнуть его из страны насильно.

Власти просто взвыли, не зная, что делать. Арест не проходил. Поклонники Карнавалова (а их у него появились тысячи) следили за его деятельностью и действиями властей. Власти опасались, что открытый арест Карнавалова может даже привести к бунту. Автомобильная катастрофа была бы шита белыми нитками. Оставалась только тайная высылка, но как и куда его выслать, если все западные правительства отказывались? Тогда-то в КГБ и была блестяще проведена оригинальнейшая акция.

Семыча арестовали в одиннадцать вечера в обстановке строжайшей секретности. Родственников изолировали, телефон выключили не только у него самого, но и у всех соседей. В печать ничего бы не просочилось, если бы не случайно проезжавший мимо корреспондент агентства ЮПИ. Он видел, как Семыча выводили из дому и заталкивали в воронку.

Но пока он проверял эти сведения, пока передал их по телетайпу, Семыча над Голландией уже вытаскивали с парашютом из самолета. Как стало потом известно, голландская полиция, обнаружив на своей территории столь необычного десантника, пыталась в ту же ночь перетолкнуть его в Бельгию, но бельгийцы, каким-то образом пронюхав о задуманной операции, сосредоточили на границе свои войска и затолкали его обратно. Голландцам ничего не осталось, как сделать хорошую мину при плохой игре. Утром правительство этой страны выпустило заявление, что, хотя Нидерланды обладают очень незначительной территорией, тем не менее на ней найдется достаточно места для письменного стола господина Карнавалова. Впрочем, уже через несколько дней Карнавалов обнаружил желание переселиться в Канаду, поскольку природа этой страны больше всего напоминала ему ту, среди которой он вырос. Так что все в конце концов завершилось ко всеобщему удовольствию.

Кажется, я залез куда-то не туда и начинаю рассказывать то, что и без меня всем известно. А моя задача состоит вовсе не в этом. Собственно говоря, никакой задачи у меня даже вовсе и нет, я просто вспоминаю отдельные моменты наших с ним отношений, не всегда самые важные и порой даже не очень связанные между собой.

Все-таки время, когда мы познакомились, было, как потом стали говорить, оттепельное.

Все оттаивало, и все оттаивали. Даже бывшие зэки. И даже скрытнейший из скрытных Сим Семыч.

Я у него и после бывал. С Зильберовичем и без Зильберовича. В конце концов, заметив, что я не имею против него никаких злостных намерений, Семыч мне стал доверять и даже давал читать не только «КПЗ», но и из других глыб отдельные главы.

Он уходил в свою котельную шуровать уголь, а я сидел за его кухонным столом и читал взахлеб.

Между прочим, я еще тогда обратил внимание на одну главу из «КПЗ». Она была большая, страниц около ста, и из всего повествования выбивалась. В начале ее даже было сказано, что она не для любителей легкого чтения, а только для пытчивого читателя. Слово «пытчивый» Семыч извлек, конечно, из словаря Даля, который он регулярно читал и в работе своей постоянно использовал. Так вот я оказался достаточно пытчивым и всю эту главу терпеливо прочел. Хотя она была больше похожа не на главу из романа, а на научное исследование. Называлась она «Вожак и стадо». Там опять упоминался этот пресловутый сперматозоид, который один из двухсот миллионов куда-то там пробивается. И было сказано, что природа делит все живые существа, начиная со сперматозоидов и кончая высшими животными, на вожаков и членов стада. Много места уделялось поведению баранов, волков, гусей, тюленей, и все отмеченные автором законы переносились, понятно, на человеческое общество. Где тоже есть природное разделение на вожаков и стадо.

У нас с Семычем тогда и произошел первый серьезный спор по этому поводу. Он как раз вернулся из котельной и, стоя посреди комнаты, ел перловую кашу из своей миски. Меня он не угощал, но я, правда, этого есть и сам не стал бы. Я ему сказал, что глава мне очень понравилась, но все-таки животный мир и человеческое общество имеют существенные различия. И хотя у человека есть тоже стадное чувство, но у него все-таки более развиты индивидуальные качества, стремление к свободе, и вообще, сказал я, люди не должны слепо подчиняться природе, и человеческое общество должно основываться на основах плюрализма. Это словечко «плюрализм» тогда вошло в наших кругах в моду, и все его употребляли к месту и не к месту. И я его тоже ляпнул очень неосмотрительно. Я еще не знал, что это самое ненавистное для него слово. Мои слова его так возмутили, что он весь затрясся и даже чуть кашей не подавился.

– Плюралисты! – закричал он. – Да они даже хуже заглотчиков. Ты сам не знаешь, что ты болтаешь. Возьми хотя бы стадо гусей. Вот они куда-то летят. У них всегда есть вожак.

А если не будет вожака, а будут одни плюралисты, они разлетятся в разные стороны и все погибнут.

– А вот как раз пример очень неудачный, – возразил я. – У гусей как раз устроено не совсем так. У них сначала один ведет стадо, потом другой, у них есть такая гусиная демократия.

– Дерьмократия! – рявкнул Семыч. – В демократии ничего хорошего нет. Если случается пожар, тогда все демократы и все плюралисты ищут того одного, который их выведет. Эти хваленые демократии уже давно разлагаются, гибнут, погрязли в роскошной жизни и порнографии. А нашему народу это не личит. Наш народ всегда выдвигает из своей среды одного того, который знает, куда идти.

Я тогда первый раз заподозрил, что под этим одним он имеет в виду себя.

Сейчас некоторые говорят, что это он, попав на Запад, так сильно переменялся. А я говорю, он всегда был такой. Однажды, я помню (в этот раз, кстати, он тоже ел перловую кашу), мы говорили об Афганистане, и я сказал, что эта война ужасная. А он сказал, ужасная, но необходимая. Потому что когда мы заплотчиков прогоним, нам все равно будет нужен выход к Индийскому океану.

Я ему сказал:

– Семыч, прежде чем заботиться о выходе к Индийскому океану, ты бы хоть немножко выход из своего подвала привел в порядок. Доски какие-нибудь положил бы, а то ведь такая грязь, что утонуть можно.

Но это, конечно, споры были единичные. А вообще и его глыбами, и поведением я был настолько покорен, что сразу поставил Семыча над всеми другими и в его присутствии ужасно робел.

Лирическое отступление о бороде

Больше всего меня поражало в нем полное отсутствие какой бы то ни было суетности и стремления к тому, чтобы печататься, стать известным, получать гонорары, жить в хорошей квартире, лучше питаться и одеваться. Потому я был очень удивлен, когда Семыч, уже на пороге славы, стал придавать значение своей внешности и даже отрастил бороду. Про его бороду я вообще думал, что она ему не идет и даже противоречит его внутреннему облику. Но затем мне пришлось признать, что и в этом случае он совершенно точно знал, что делал. Точно знал, когда ходить с бородой, когда без. Если бы, еще будучи истопником, он отрастил бороду любой длины, она вряд ли принесла ему хоть какую-то выгоду. Ну в крайнем случае прослыл бы среди жителей Бескудникова городским сумасшедшим. Понятно, ради подобной репутации он никогда не пошел бы на те неудобства, которые связаны с ношением бороды, тем более что, учитывая характер его тогдашних обязанностей, это и в пожарном отношении было бы крайне небезопасно. А вот когда пришла слава, а с нею толпы поклонников и журналистов, когда настало время фотографий на обложках и телевизионных интервью, тогда борода пришлась как раз к месту. Размноженная миллионами телеэкранов, она производила неотразимое впечатление.

Вообще-то говоря, у меня о бороде есть целое исследование, которое каждый желающий может получить почти в любой библиотеке мира. Но для тех, кому лень ходить по библиотекам, я объясню кратко, что, по моему глубокому убеждению, борода играет очень важную роль в распространении передовых идей, учений и овладении умами. Я думаю, что марксизм никогда бы не мог покорить массы, если бы Маркс в свое время был побрит хотя бы насильно. Ленин, Кастро, Хомейни не смогли бы произвести революции, будучи бритыми. Конечно, захватывать власть в той или иной стране или покорять территории удавалось иногда усатым и даже безусым. Но ни одному безбородому еще не удалось прослыть пророком.

Нелишне заметить, что борода бороде рознь. Чтобы выделиться из общего ряда, носитель бороды должен избегать всякого намека на подражание. Никогда не следует отращивать бороду, которую можно назвать марксовой, ленинской, хошиминовской или толстовской. В таком случае вас могут зачислить не в пророки, а только в последователи. Сим Семыч это хорошо понял, но оптимальное решение нашел не сразу. Поначалу он зашел слишком далеко и отрастил бороду такой длины, что при быстрой ходьбе иногда сам же на нее наступал. Это было и неудобно, и бессмысленно, потому что при съемках крупным планом борода не вписывалась в кадр. Пришлось укоротить, и с тех пор истинно карнаваловской считается борода, которая лишь слегка прикрывает колени.

Некоторые могут меня спросить, не слишком ли много внимания уделяю я бороде. Как бы пророк ни дурил, главное в нем все же не внешность, а его мысли и идеи. Это всеобщее заблуждение, которое я много лет и, правду сказать, вполне безуспешно пытаюсь развеять. Мысли и идеи пророков второстепенны. Пророк прежде всего действует не на мозги, а на гормональную сферу, для чего как раз и нужны борода и соответствующие ей жесты, ужимки и гримасы. Толпа, возбужденная сексуально, ошибочно полагает, что овладела идеями, ради которых стоит крушить церкви, строить каналы и уничтожать себе подобных. Интересно, что, развязывая сексуальную энергию масс, сами пророки очень часто бывают импотентами и говорят женскими голосами. Впрочем, к Семычу это утверждение относится лишь отчасти. Голос у него, правда, тонкий, но все остальное, как я слышал, в полном порядке, и именно это, противореча моей концепции, мешало мне признать его настоящим пророком.

Жених

Я рассказываю о событиях, свидетелем которых мне пришлось быть, так непоследовательно, потому что в результате всего случившегося со мною я утратил внутреннее ощущение разницы между прошлым и будущим.

Когда Семыч стал знаменитым, его сразу признали все поголовно. Говорить о нем можно было только в самых возвышенных тонах, не допуская ни малейшей критики. А уж когда он женился на Жанете, при ней вообще нельзя было сказать, что, допустим, мне какая-то отдельная фраза или строчка из Семыча не понравилась. Все, что делал Семыч, было настолько безусловно замечательно, что даже определение «гениально» казалось недостаточным.

Но она, между прочим, оценила его не сразу. Я помню тот период, когда он меня не только удивил, но даже потряс тем, что втюрился в нее с первого взгляда и сразу решил соблазнить ее своим «КПЗ», который в канцелярской папке с коричневыми тесемочками сам лично принес ей для прочтения.

Жанета теперь об этом совершенно не помнит, но тогда она к «КПЗ» отнеслась очень сурово.

– Ну скажи, – говорила она мне, – почему он пишет так длинно и почему у него герои все такие бескрылые, бесхребетные и ущербные? Куда они зовут и к чему ведут? Почему он всю нашу жизнь изображает только черными красками? Неужели он не мог найти в ней ничего положительного? Ну, конечно, все знают, отдельные ошибки и злоупотребления были, и партия о них сказала со всей прямотой. Но в конце концов, сколько же можно об одном и том же? Ведь не только же плохое у нас было. Ведь сколько построено новых городов, заводов, электростанций...

Подобные речи я слышал от Жанеты задолго до этого разговора. Раньше, правда, она их произносила увереннее. А теперь и в ней появились некоторые сомнения в правоте «нашего дела». От одних идеалов она незаметно для себя отдалялась, но к другим еще не пришла.

Как сейчас помню, оказавшись однажды на Стромынке и не имея в кармане двух копеек, решил я проведать Зильберовича без звонка.

Поднявшись на четвертый этаж, у самых дверей Зильберовича нос к носу столкнулся я с человеком во всем белом и парусиновом: парусиновые брюки, парусиновый пиджак, парусиновые ботинки, начищенные зубным порошком, и картуз образца ранних тридцатых годов (где он только его раздобыл?) – тоже из парусины.

– Сим Семыч, добрый день! – поздоровался я.

Он посмотрел на меня как-то странно, словно не узнавая, и, ничего не ответив, медленно и на ощупь, как слепой, стал спускаться по лестнице.

Дверь мне открыла Клеопатра Казимировна. Она была ужасно взволнована и шепотом сказала мне, что минуту назад «это чучело» сделало ее Неточке (так она называла свою дочь) предложение.

– Но это же просто наглость! – возмущалась она. – Не имея никакого положения, да еще в таком возрасте...

Кстати, насчет возраста: Семычу тогда всего-то было сорок четыре года, но выглядел он гораздо старше.

Клеопатра Казимировна сказала мне, что Лео скоро придет, а Неточка у себя. И ушла на кухню. Жанета в ситцевом халате сидела на подоконнике и смотрела на улицу (наверное, хотела увидеть, как он выходит из подъезда).

На круглом столе посреди комнаты стояла нераскупоренная бутылка алжирского вина и маникюрный набор в коробочке, обтянутой красным бархатом.

Жанета со мной обычно особенно не откровенничала, а тут вдруг разговорилась и сказала подробно, как Симыч пришел, как волновался, как долго пил чай и не уходил, как наконец поднялся и по-старомодному предложил ей руку и сердце. А когда она отвергла предложение, он разозлился и пообещал, что она еще горько пожалеет о своем решении, потому что о нем скоро узнает весь мир.

– Ты себе представляешь? – сказала она мне, волнуясь, возмущаясь и проявляя в то же время какую-то странную для нее неуверенность. – О нем узнает весь мир! Ты можешь себе это представить?

– Могу, – сказал я коротко.

– Почему? – удивилась она. – В мире есть десятки или сотни тысяч писателей, и каждый из них рассчитывает прославиться на весь мир.

– Ну да, – сказал я, – каждый рассчитывает. Но кто-то из них рассчитывает все же не зря. Ты же читала у него, что только один из двухсот миллионов сперматозоидов выбивается в люди.

– Ты думаешь, ваш Симыч и есть тот один? – спросила она, скрывая за насмешкой сомнение.

– Он очень упорный, – сказал я уклончиво.

– Он сумасшедший, – сказала она. – Ты знаешь, что он мне наплел? Что он чуть ли не царского происхождения. Это он-то, этот счетовод в парусиновом картузе.

Она эти свои слова, я думаю, давно позабыла, а я никогда бы не решился их ей напомнить.

У вас есть айденфикейшен?

Мы ехали по местной дороге 4, точно соблюдая инструкцию: впереди голубой «Шевроле» с заляпанным грязью номером, за ним я во взятой напрокат «Тойоте». Как и было предписано, я старался держать дистанцию, не слишком приближаясь к «Шевроле», но и не упуская его из виду.

Я думал, куда, интересно, смотрит канадская полиция и почему она не обращает внимания на то, что номер заляпан, хотя в окрестностях Торонто, судя по поблекшей траве, дождей давно не было. И конечно, думал я о Семыче, о его странных чудачествах и привычках и об этой идиотской игре в шпионы, при которой надо закрывать окна машины и заляпывать номер.

– Тоже мне, неуловимый Джо, – сказал я самому себе, вспомнив анекдот о всаднике, воображавшем себя неуловимым потому, что ловить его никто не собирался.

Водитель передней машины знал свое дело хорошо. Он держал все время одну и ту же скорость, не делал резких маневров и заранее включал сигнал поворота.

После городка, который назывался, кажется, Лоренсвил, начался большой сосновый лес за аккуратной оградой из металлической сетки. Мы проехали вдоль этой сетки несколько километров, когда водитель «Шевроле» включил правый поворот.

Съезд в лес обращал на себя внимание только тем, что был почти неприметен. Но у самого начала лесной дороги на ограде висел большой белый щит с таким текстом:

ATTENTION!!!

PRIVATE PROPERTY!

TRESPASSING STRICTLY PROHIBITED!

VIOLATORS WILL BE PROSECUTED!⁴

Очевидно, водителя «Шевроле» это предупреждение не касалось.

После еще нескольких километров сухой, посыпанной гравием дороги мы наконец уткнулись в зеленые железные ворота, от которых в обе стороны уходил и скрывался в лесу такой же зеленый железный забор. Вернее, уткнулся в эти ворота только я на своей «Тойоте». Перед «Шевроле» ворота открылись, а передо мной как раз успели закрыться.

Я, естественно, удивился, но проявлять нетерпение не спешил и стал разглядывать ворота, над которыми была широкая железная полоса в виде арки, а на этой полосе большими русскими буквами было обозначено:

ОТРАДНОЕ.

Я уже раньше слышал, что Семыч так назвал свое имение. Не успел я выкурить сигарету, как ворота открылись снова, и я въехал внутрь. Но недалеко. Потому что за воротами

⁴ Внимание!!! Частная собственность! Проход строго воспрещен! Нарушители будут наказаны! (англ.)

был еще шлагбаум и полосатая будка, из которой вышли два кубанских казака – один белый, другой негр, оба с вислыми усами и с длинными шашками на боку.

Белый при ближайшем рассмотрении оказался Зильберовичем.

– Здорово! – сказал я ему. – Ты что это так вырядился?

– У вас есть какой-нибудь айденфикейшен? – спросил он, не проявляя никаких признаков узнавания.

– Вот тебе айденфикейшен, – сказал я и сунул ему под нос фигу.

Негр схватился за шашку, а Зильберович поморщился.

– Нужно предъявить айденфикейшен, – повторил он.

Тем временем негр открыл багажник моей машины и, ничего в нем не найдя, кроме запаски, тут же закрыл.

– Слушай, Лео, – сказал я Зильберовичу сердито, – я из-за тебя провел шестнадцать часов в дороге, отстань от меня со своими идиотскими шутками.

– Нужен айденфикейшен, – настойчиво повторил Лео и покосился на негра, который, приблизившись, смотрел на меня не очень-то доброжелательно.

– Ну ладно, – сказал я, сдаваясь. – Если ты настаиваешь на том, чтобы играть в эту странную игру, вот тебе документ. – Я дал ему мои водительские права в развернутом виде.

Он изучил их внимательно. Как на проходной сверхсекретного учреждения. Несколько раз сверил меня с карточкой и карточку со мной. И только после этого раскрыл мне свои объятия:

– Ну здравствуй, старина!

– Пошел к черту! – сказал я, вырвав свои права и отпихиваясь.

– Ну, ладно, ладно, будет тебе пыхтеть, – сказал он, хлопая меня по спине. – Ты же сам знаешь, КГБ за Семычем охотится, а они, если захотят, загримировать могут кого хочешь под кого хочешь. Ну, пошли. Сейчас чего-нибудь с дорожки рубанем. Эй, Том! – обратился он к черному казаку по-английски. – Поставь его машину где-нибудь у конюшни.

В усадьбе

Усадьба, на территории которой я очутился, напоминала что-то не то вроде Дома творчества писателей в Малеевке, не то правительственного санатория в Барвихе, куда я однажды совершенно случайно попал.

Длинное трехэтажное здание с полукруглым крыльцом и колоннами. Перед крыльцом довольно большая, прямоугольная, мощенная красным кирпичом площадь, и от нее во все стороны лучами расходятся асфальтированные аллеи, обсаженные по краям молодыми березами. Слева от дома пара аккуратных коттеджей с маленькими окнами, справа небольшая церквушка с тремя скромными луковками и какие-то еще постройки в отдалении напротив главной усадьбы. А там еще дальше поблескивает на заходящем солнце озеро.

На площади я увидел полосатый столб с фанеркой наверху и надписью: СССР.

– Что значит Си-Си-Си-Пи? – спросил я у Зильберовича.

– Что еще за Си-Си-Си-Пи? – не понял он.

– Ну вон на столбе что написано?

– Ах это? – засмеялся Зильберович. – Ну, старик, ты даешь! Что значит эмигрантская привычка к латинским буквам. Но это, старик, не по-английски написано, а по-русски: Эс-Эс-Эр.

– Это что же, с советской границы утащено?

– Да нет, это Том сделал. Ну да ладно, ты потом все поймешь.

Какое-то существо женского пола в очень открытом сверху и снизу красном сарафане, стоя к нам спиной, поливало из шланга клумбу с хризантемами. Более безобразной фигуры я в жизни своей не видел. Она состояла в основном из огромного зада, а все остальное из него произрастало как бы случайно.

Бросив меня, Зильберович подкрался к этому заду и вцепился в него двумя руками.

– Ой, батюшки! – вскрикнула владелица зада и, обернувшись, оказалась молодой девачкой с простонародным лицом, покрытым веснушками. – Это вы, барин, – сказала она, улыбаясь довольно глупо. – Вы все шутите и шутите, а потом Том спрашивает меня, откеля синяки.

– А ты приходи ко мне, я тебе их попудрю, – сострил Зильберович и, пошлепав ее дружелюбно, сказал мне: – Это наша Степанида, Стеша. Она жена Тома, который перед этим произведением, – он снова пошлепал произведение, – устоять не мог.

– Да вы ж, барин, все кобели, – сказала Стеша, по-прежнему улыбаясь, – и у женщины никакого другого места не замечаете.

Мы пошли дальше, и я заметил Лео, что его отношение к половому вопросу за прошедшее время, кажется, изменилось.

– Да нет, – смутился Лео. – Не изменилось. Но здесь, знаешь, жизнь такая уединенная, скучная и иногда хочется как-то развеяться.

– А этот Том куда смотрит?

– А он никуда не смотрит, – ответил Лео беспечно. – Он человек широкий.

Когда мы приблизились к крыльцу, на нем появилось еще одно существо, которое тут же кинулось мне на грудь. Это была порядочных размеров овчарка. Я собирался проститься с жизнью, когда почувствовал, что она лижет мне нос.

– Плюшка! – закричал Зильберович, оттаскивая собаку. – Что ж ты за гад за такой, за поганец! Ну что ты за собака! Не зря Семыч прозвал тебя Плюралистом.

– Плюралистом? – переспросил я удивленно.

– Ну да, – сказал Зильберович. – Со всеми без разбору лижется. Настоящий плюралист. Но мы его, чтобы не обижать, зовем Плюшкой.

Следом за Плюшкой на крыльцо вышла русская красавица в красном шелковом сарафане, батистовом платочке, сафьяновых сапожках, с большой светло-русой косой, аккуратно уложенной вокруг головы.

– Батюшки, кого это бог послал! – сказала она, лучезарно улыбаясь мне сверху.

Это была Жанета.

Она легко сбежала с крыльца, и мы троекратно, как принято среди уважающих русские обычаи иностранцев, облобызались.

– Ты совсем не изменилась, – сказал я Жанете.

– Мне некогда меняться, – сказала она. – Мы здесь все работаем по шестнадцать часов в день. А вот ты поседел и растолстел.

– Да-да, – признался я печально. – Что есть, то есть.

– Ну пойдем, потрапезничаем, чем бог послал.

Мы поднялись на крыльцо и оказались в просторном вестибюле с колоннами. Прямо поднималась к кадушке с фикусом широкая лестница, покрытая ковром, справа была двустворчатая стеклянная дверь, занавешенная изнутри чем-то цветастым, над дверью висело распятие.

Жанета перекрестилась. Зильберович снял кубанку и тоже перекрестился. К моему удивлению, он оказался совершенно лысым.

– А ты что же лоб не крестишь? – покосилась на меня Жанета. – Воинствующий безбожник?

– Да нет, – сказал я. – Не воинствующий, а легкомысленный.

В трапезной я попал в объятия Клеопатры Казимировны, так же, как и я, за эти годы весьма располневшей. Она была в темно-зеленом платье, в фартуке чуть посветлее и в белой наколке.

Лео повесил шашку на крюк у дверей. Мы расположились в углу ничем не покрытого большого, персон на двенадцать, дубового стола. Стулья тоже были дубовые.

Клеопатра Казимировна тут же принесла из расположенной рядом кухни чугунок со щами, а Жанета расставила деревянные плошки и ложки.

– Что будешь пить, квас или компот? – спросила Жанета.

– А что, другого выбора нет? – спросил я настороженно. Зильберович наступил мне на ногу и подмигнул.

– Спиртного не держим, – сухо сказала Жанета.

– А, ну да, – сказал я, – вы, конечно, не держите. Зато я держу.

Я нагнулся за своим чемоданчиком типа «дипломат», в котором лежала купленная еще во франкфуртском аэропорту бутылка немецкой водки «Горбачев».

– В этом доме спиртное вообще не пьют, – остановила меня Жанета.

«О господи!» – подумал я с тоской, но ничего не сказал.

Зильберович толкнул меня коленом. Я его понял и попросил квасу, вкус которого уже слегка подзабыл.

Щи, к моему удивлению, оказались совершенно пресными, и я стал шарить глазами по столу.

– Тебе что-нибудь нужно? – спросила Жанета.

– Да, – сказал я. – Соли, если можно.

– Мы соль не употребляем, потому что у Сим Сими́ча диабет и бессолевая диета.

– А, да! – сказал я разочарованно. – Я не подумал. А у меня как раз солевая диета.

– Ну да, – добродушно засмеялась Жанета. – У тебя диета солевая и алкогольная.

– Вот именно, – подтвердил я. – И еще табачная.

– Кстати, – заметила Жанета, – у нас в помещениях не курят.

– Это ничего, – успокоил я ее. – Сейчас тепло, я и на улице могу покурить.

После щей дали перловую кашу с молоком, при котором отсутствие соли ощущалось меньше.

Клеопатра Казимировна подробно меня расспрашивала о жизни в Германии, о жене и детях, как мы живем, что делаем. Я объяснил: сын учится в реальшколе, дочка в гимназии, я работаю, жена помогает мне и ездит за покупками.

– Она научилась водить машину? – спросила Клеопатра Казимировна.

Я сказал: нет, не научилась, ездит на велосипеде.

– На велосипеде? – переспросила Жанета. – Но это же неудобно. Платье может задраться или попасть в колесо.

Я заверил ее, что эта опасность моей жене не грозит, потому что она в джинсах ездит.

– В джинсах? – поразилась Жанета. – Ты разрешаешь ей ходить в джинсах?

– Она у меня разрешения не спрашивает, – сказал я. – Но я не вижу в джинсах ничего дурного.

– Неточка у нас стала такая строгая, – заметила Клеопатра Казимировна не то с гордостью, не то извиняясь.

– Да, строгая, – твердо сказала Жанета. – Женщина должна ходить в том, в чем ей предписано богом.

На это я заметил, что, по имеющимся у меня сведениям, бог сотворил женщину в голом виде, а что касается джинсов, то их сейчас носят все – и мужчины, и женщины, и гермафродиты.

Я еще хотел что-то сказать по этому поводу, но Зильберович так наступил мне на ногу, что я чуть не вскрикнул и, меняя тему, деликатно спросил, почему ж это не видно хозяина.

– А он уже поужинал, – сказал Лео.

– Но потом он выйдет или мне лучше к нему зайти?

Жанета переглянулась с матерью, а Лео откровенно засмеялся.

– Сим Смышч, – сказала Жанета, – после ужина делами не занимается.

– Да, – сказал я со сдержанным недовольством, – но я же не по своему делу приехал.

– А он после ужина никакими делами не занимается, – повторила Жанета. – Ни своими, ни чужими.

– Да-да, старик, – подтвердил Зильберович. – Он сейчас тебя принять просто никак не может. Он сейчас словарь Даля заучивает, а потом будет Баха слушать, он перед сном всегда Баха слушает, он без Баха заснуть не может.

Я отодвинул кашу и встал. Я сказал:

– Вы меня, конечно, извините... В первую очередь вы, Клеопатра Казимировна, и ты, Жанета, но я такого обращения просто не понимаю. Я к вам в гости не набивался. У меня нет лишнего времени. Мне предстоит далекое и, может быть, даже очень опасное путешествие. Я к вам приехал только потому, что Лео очень настаивал. Я не спал ночь, я добирался до вас шестнадцать часов с пересадками...

– Ну, старик, старик, ну что ты раскипятился. – Зильберович схватил меня за руку и тянул вниз. – Ну добирался, ну устал. Так сейчас отдохнешь. Пока Нетка тебе постель приготовит, мы с тобой поболтаем... – Он опять подмигнул мне и скопил глаза на мой «дипломат». – Ляжешь, выспишься, а завтра разберемся.

Откуда-то сверху лилась тихая мелодия. Будучи большим знатоком музыки, я сразу узнал произведение Баха «Хорошо темперированный клавир».

На белом коне

Проклятый Зильберович! Мало было ему привезенного мной «Горбачева», так он еще 0,75 бурбона потом притащил, говоря, что американцы считают бурбон лучшим в мире напитком. Но они-то этот лучший напиток сильно разбавляют содовой, а мы неразбавленный заедали соленым огурцом.

Конечно, разбавлять такой напиток глупо и даже кощунственно, но мешать его с водкой, пожалуй, тоже не стоило.

С трудом разлепив глаза, я огляделся.

Я лежал на деревянном топчане с жестким матрасом. В каком-то странном помещении – то ли тюремная камера, то ли монашеская келья. В одном углу божница, в другом таз и деревянный рукомошник (неужели тот самый, который я видел лет двадцать с лишним тому в подвале у Семыча?). Малюсенькое окошко под самым потолком, а сквозь него врываются в помещение всякие премерзкие звуки. Какая-то сволочь стучит в барабан и дудит на визгливой дудке. Ну что за наглость! Ну разве можно в такую рань...

Я поднес к глазам часы и обалдел. Без двадцати двенадцать, а я все еще дрыхну. И это в доме, где хозяин и все его помощники работают с утра до вечера.

Господи, ну зачем же я столько пил? Ну почему я не могу, как люди, как американец какой-нибудь, налить немножко в стакан, разбавить содовой и вести спокойный такой, уравновешенный разговор о Данте или налогах?

Впрочем, и у нас разговор был по-своему интересный. Лео сначала важничал и скрыничал, а потом, наклюкавшись, кое-что выболтал об их здешней жизни. Живут они очень замкнуто. Семыч ежедневно пишет по двадцать четыре страницы. Иногда он работает в кабинете, иногда гуляя по территории усадьбы. Гуляя, он пишет на ходу в блокноте. Исписав очередной лист, швыряет его не глядя на землю, а Клеопатра Казимировна и Жанета тут же эти листки подбирают и складывают. Забегая вперед, скажу, что я потом видел, как это происходит. Семыч гуляет с блокнотом, а жена и теща тихо ходят за ним. Когда он швыряет очередной листок, они подхватывают его, тут же читают, и Жанета немедленно оценивает написанное по однобалльной системе. «Гениально!» – говорит она шепотом, чтобы не помешать Семычу.

Когда-то точно так же она оценивала Ленина. Я помню, еще в университете взял у нее какую-то ленинскую брошюру (кажется, «Государство и революция»), так там слово «гениально» было написано на полях чуть ли не против каждой строчки.

Все-таки мешать «Горбачева» с бурбоном не стоит. Голова трещала ужасно, и у меня даже появились мысли, что с пьянством пора кончать. И я даже дал себе слово, что кончу. Только бы вот опохмелиться, а потом решительно завязать.

Барабан все стучал и дудка дудела, не давая сосредоточиться.

Я встал на табуретку и дотянулся до окна. Глянул наружу и не поверил своим глазам. На площади перед домом, как раз под полосатым столбом с табличкой «СССР», стоял советский солдат в полной форме с автоматом через плечо. Я в отчаянии потряс головой. Что это такое? Советские войска вторглись в Канаду или мне уже черти мерещатся?

Скосив глаза, я увидел негра Тома с саксофоном и Степаниду с барабаном даже большим, чем ее задница. Как я и предположил, они не играли, а только настраивались.

Потом появились две русские красавицы в цветастых сарафанах и платочках. Одна из них держала на руках каравай хлеба, а другая тарелку с солонкой.

Потом... Я не понял точно, как это получилось. Сначала, кажется, раздался удар колокола, потом Том затрубил что-то бравурное, а Степанида ударила в барабан. И в то же самое

время на аллее, идущей от дальних построек, появился чудный всадник в белых одеждах и на белом коне.

Пел саксофон, стучал барабан, пес у крыльца рвался с цепи и лаял. Конь стремился вперед, грыз удила и мотал головой, всадник его сдерживал и приближался медленно, но неумолимо, как рок.

Как я уже сказал, он был весь в белом. Белая накидка, белый камзол, белые штаны, белые сапоги, белая борода, а на боку длинный меч в белых ножнах.

Я открыл окно настежь и высунул голову, чтобы лучше видеть и слышать. Пристально взглядевшись, я узнал во всаднике Сим Семыча. Лицо его было одухотворенным и строгим.

Семыч приблизился к часовому. Саксофон и барабан смолкли. Семыч вдруг как-то перегнулся, сделал движение рукой, и над ним в солнечных лучах сверкнул длинный и узкий меч. Похоже было, что он собирается снести несчастному солдату голову.

Я зажмурился. Открыв глаза снова, я увидел, что солдат стоит с поднятыми руками, автомат его лежит на земле, но Семыч все еще держит меч над его головой.

– Отвечай, – услышал я звонкий голос, – зачем служил заглотной власти? Отвечай, против кого держал оружие?

– Прости, батюшка, – отвечал солдат голосом Зильберовича. – Не по своему желанию служил, а был приневолен к тому сатанинскими заглотчиками.

– Клянешься ли впредь служить только мне и стойчиво сражаться спротив заглотных коммунистов и прихлебных плюралистов?

– Так точно, батюшка, обещаю служить тебе супротив всех твоих врагов, беречь границы российские от всех ненавистников народа нашего.

– Целуй меч! – приказал батюшка.

Опустившись на колена, Зильберович приложил меч к губам, а Семыч пересек воображаемую линию границы, после чего две красные девицы (теперь у меня уже не было сомнений, что их изображали Жанета и Клеопатра Казимировна) поднесли ему хлеб да соль.

Семыч принял хлеб-соль, протянул девицам руку для поцелуя и, прищпорив коня, быстро удалился по одной из боковых аллей.

На этом церемония, видимо, закончилась. Все участники разошлись.

Пока я натягивал штаны, Зильберович, как был, в форме и с автоматом, заглянул ко мне в келью.

– Все спишь, старик! – сказал он с упреком. – И даже репетиции нашей не видел.

– Видел, – сказал я. – Все видел. Только не понял, что все это значит.

– Чего ж тут не понимать? – сказал Зильберович. – Тут и понимать нечего. Семыч тренируется.

– Неужто надеется вернуться на белом коне? – спросил я насмешливо.

– Надеется, старик. Конечно, надеется.

– Но это же смешно даже думать.

– Видишь ли, старик, – выбирая слова, сказал Зильберович. – Когда-то ты встретил Семыча в подвале, нищего и голодного, с сундуком, набитым никому не нужными глыбами. Тогда тебе его планы тоже казались смешными. А теперь ты видишь, что прав был он, а не ты. Так почему бы тебе не предположить, что он и сейчас видит дальше тебя? Гении всегда видят то, что нам, простым смертным, видеть не дано. Нам остается только доверяться им или не доверяться.

Признаюсь, его слова меня почти не задели. Его прежнее высокое мнение обо мне давно уже развеялось в прах. Он Семыча ставил под облака, а меня на один уровень с собой или даже ниже. Потому что он все же состоял при гении, а я болтался сам по себе. Но я, понимая, что Лео человек пустой, не обиделся. Я глянул на часы и спросил Зильберовича,

как он думает, получу я место на шестичасовой рейс прямо в аэропорту или стоит забронировать его заранее по телефону.

Зильберович посмотрел на меня не то удивленно, не то смущенно (я точно не понял) и сказал, что улететь сегодня мне никак не удастся.

– Почему? – спросил я.

– Потому что Семыч с тобой еще не говорил.

– Ну так у нас еще есть достаточно времени.

– Это у тебя есть достаточно времени, – заметил Зильберович. – А у него нет. Он хотел тебя принять во время завтрака, но ты спал. А у него все время расписано по минутам. В семь он встает. Полчаса – бег трусцой вокруг озера, десять минут – душ, пятнадцать минут – молитва, двадцать минут – завтрак. В восемь пятнадцать он садится за стол, без четверти двенадцать седлает Глагола...

Глаголом Семыч назвал коня, которого я знал еще слабым, только что отлученным от матери жеребенком. Именно за этим жеребенком мы и ездили с Руди в Камарг. А потом я его вез на теплоходе в Канаду. Он был еще маленький и хилый. По дороге его укачивало так, что он не мог стоять на ногах. Его тошнило, и он ничего не ел, кроме кусочков сахара, которыми я кормил его с руки. Я много часов провел в специально для него устроенном стойле. Я сидел там на низкой скамейке, клал его голову к себе на колени и одной рукой почесывал шерстку между ушами, а другой протягивал ему кубик рафинада. Который он сперва обнюхивал, а потом осторожно брал мягкими своими губами. Он был маленький и слабый, а теперь вон вымахал в какого красавца.

– Значит, без четверти двенадцать он седлает Глагола и?..

– ...И в двенадцать репетирует въезд в Россию. Потом опять работа до двух. С двух до половины третьего он обедает...

– Очень хорошо, – сказал я. – Пусть меня во время обеда и примет.

– Не может, – вздохнул Зильберович. – Во время обеда он просматривает читалку.

– Чего просматривает?

– Ну, газету, – сказал раздраженно Лео. – Ты же знаешь, что он борется против иностранных слов.

– Но после обеда у него, я надеюсь, есть свободное время?

– После обеда он сорок минут занимается со Степанидой русским языком, потом полчаса спит, потому что ему нужно восстанавливать силы.

– Ну после сна.

– После сна у него опять маленькая зарядка, душ, чай и работа до семи. Потом ужин.

– Опять с газетами?

– Нет, с гляделкой.

– Понятно, – сказал я. – Значит, телевизор смотрит. Развлекается. А я его ждать буду?

– Да что ты! – замахал руками Зильберович. – Какие там развлечения! Он смотрит только новости и только полчаса. А потом опять работает до десяти тридцати.

– Ну хорошо, пусть примет меня после десяти тридцати. Тогда я по крайней мере уеду завтра утром.

– От десяти тридцати до одиннадцати тридцати он читает словарь Даля, потом у него остается полчаса на Баха, и пора спать. Да ты, старик, не волнуйся. Завтра он тебя наверняка примет. Только ты уж к завтраку не проспай.

– Все-таки вы нахалы! – сказал я в сердцах.

– Кто это мы?

– Ну я не буду говорить об остальных, но ты нахал, а твой Семыч нахал трижды. Мало того, что заставил меня через полмира переть, так еще тут выдрючивается. У него расписание, у него времени нет. Мне мое время, в конце концов, тоже для чего-то нужно.

– Вот именно, – оживился Зильберович. – Твое время нужно тебе, а его время нужно всем, всему человечеству.

Тут я совершенно взбесился. Я, между прочим, эти ссылки на народ и человечество просто не выношу. И я сказал Зильберовичу, что если Семыч нужен человечеству, то пусть он к человечеству прямо и обращается. А я немедленно еду на аэродром. И, кстати, надеюсь, что все мои транспортные издержки будут возмещены.

– Об этом, старик, можешь совершенно не беспокоиться, он все знает и все оплатит. Но ты дурака не валяй. Если ты уедешь, он так рассердится, ты даже не представляешь.

В конце концов он меня уговорил, я остался.

После обеда Зильберович предложил мне сходить по грибы. Я согласился, но спросил, нельзя ли по дороге проведать Глагола. Мне было интересно, узнает он меня или нет.

Зильберович согласился, но сказал, что конюшня, где находится в настоящее время жеребец, вызывает в нем неприятные ассоциации. Какие именно ассоциации, я сначала не понял.

Конюшня была просторная, длинная, построенная на несколько лошадей, но только одно из стойл – самое крайнее – было занято Глаголом, который меня тут же узнал. Он обрадовался мне, как ребенок, громко заржал, застучал копытом и потянул ко мне морду через невысокую деревянную загородку. Я был тоже ему очень рад, погладил его по холке, почесал между ушами и, конечно, угостил сахаром. Он грыз сахар, терся мордой о мою щеку и потом явно не хотел со мной расставаться.

С грибами нам не повезло. Я нашел один подосиновик и две сыроежки, а Лео вообще вернулся пустым.

Потом мы с ним мылись в бане. В настоящей русской бане с парилкой и деревянными шайками. Войдя в предбанник, я увидел в углу на лавке дюжину свежих березовых веников, выбрал какой получше и спросил Зильберовича, взять и ему или нам хватит одного на двоих.

– Мне не нужно, – странно ухмыльнулся Лео, – меня уже попарили.

Я не понял, что это значит, но, когда Лео разделся, я увидел, что вся его сутулая спина вкривь и вкось исполосована малиновыми рубцами.

– Что это? – спросил я изумленно.

– Том, собака, – сказал Лео беззлобно. – Если уж за что берется, так силы не жалеет.

– Не понимаю, – сказал я. – Вы дрались, что ли?

– Нет, – печально улыбнулся Лео. – Не мы дрались, а он драл меня розгами.

– Как это? – удивился я. – Как это он мог драть тебя розгами? И как это ты позволил?

– Но не сам же он драл. Это Семыч назначил мне пятьдесят ударов.

Я как раз снял с себя левый ботинок да так с этим ботинком в руке и застыл.

– Да, – с вызовом сказал Зильберович, – Семыч ввел у нас телесные наказания. Ну, конечно, я сам виноват. Он послал меня на почту отправить издателю рукопись. А я по дороге заехал в ресторанчик, там приложился и рукопись забыл. А когда уже возле самой почты вспомнил, вернулся, ее уже не было.

– А что ж, она была только в единственном экземпляре? – спросил я.

– Ха! – сказал Зильберович. – Если б в единственном, он бы меня вообще убил.

Ошарашенный таким сообщением, я молчал. А потом вдруг трахнул ботинком по лавке.

– Лео! – сказал я. – Я не могу в эту дикость поверить. Я не могу представить, чтобы в наши дни в свободной стране такого большого, тонкого, думающего человека, интеллектуала, секли на конюшне, как крепостного. Ведь за этим не только физическая боль, но и оскорбление человеческого достоинства. Неужели ты даже не протестовал?

– Еще как протестовал! – сказал Лео, волнуясь. – Я стоял перед ним на коленях. Я его умолял: «Симыч, – говорю, – это же первый и последний раз. Я тебе клянусь своей честью, это никогда не повторится».

– И что же он? – спросил я. – Неужели не пожалел? Неужели его сердце не дрогнуло?

– Как же, у него дрогнет, – сказал Зильберович и смахнул выкатившуюся из левого глаза слезу.

Я так разволновался, что вскочил и стал бегать по предбаннику с ботинком в руке.

– Лео! – сказал я. – Так больше быть не должно. С этим надо покончить немедленно. Ты не должен никому позволять обращаться с собой как с бессловесной скотиной. Вот что, друг мой, давай одевайся, пойдём. – Я сел на лавку и стал обратно натягивать свой ботинок.

– Куда пойдём? – не понял Лео.

– Не пойдём, а поедём, – сказал я. – В аэропорт поедём. А оттуда махнем в Мюнхен. Насчет денег не волнуйся, их у меня до хрена. Привезу тебя в Мюнхен, устрою на радио «Свобода», будешь там нести какую-нибудь антисоветчину, зато пороть тебя никто уже не посмеет.

Лео посмотрел на меня и улыбнулся печально.

– Нет, старик, какая уж там «Свобода»! Мой долг оставаться здесь. Видишь ли, Симыч, конечно, человек своенравный, но ты же знаешь, гении все склонны к чудачествам, а мы должны их терпеливо сносить. Я знаю, знаю, – заторопился он, как бы предупреждая мое возражение. – Тебе не нравится, когда я говорю «мы» и тем самым ставлю тебя на одну доску с собой. Но я не ставлю. Я понимаю, какой-то талант у тебя есть. Но ты тоже должен понять, что между талантом и гением пропасть. Не зря же на него молится вся Россия.

– Россия на него молится? – сказал я. – Ха-ха-ха. Да его уже там давно все забыли.

Лео посмотрел на меня внимательно и покачал головой.

– Нет, старик, ошибаешься. Его не только не забыли, но, наоборот, его влияние на умы растет с каждым днем. Его книги не просто читают. Есть тайные кружки, где их изучают. У него есть сторонники не только среди интеллигенции, а среди рабочих, и в партии, и в КГБ, и в Генеральном штабе. Да если хочешь знать, – Лео оглянулся на дверь и прильнул к моему уху, – к нему на прошлой неделе приезжал...

И уже совсем понизив голос до шелеста, Лео назвал мне фамилию недавно побывавшего в Америке члена Политбюро.

– Ну это уж ты врешь! – сказал я.

– Падло буду, не вру, – сказал Лео и по-блатному ковырнул ногтем зуб.

На следующее утро я встал пораньше. Выходя из дому, я увидел две здоровые машины с вашингтонскими номерами. Одна легковая, другая автобус с надписью «AMERICAN TELEVISION NEWS». Какие-то люди раскручивали кабель и втаскивали оборудование в дом. Только один стоял, ничего не делая, курил сигару.

– Джон? – удивился я. – Это вы? Что вы здесь делаете? Разве вы и для телевидения работаете?

– О да, – сказал Джон. – Я для всех работаю. А вы что здесь делаете? Я думал, вы уже очень далеко отсюда. Если вы решили передумать, вам придется платить очень многочисленная неустойка.

– Не беспокойтесь, – сказал я. – У меня еще до отлета неделя.

– Я не беспокоиваюсь, – улыбнулся Джон. – Я знаю, что вы купили билет. Я приехал сюда не для вас, а для небольшой интервью у господин Карнавалов.

С этими словами он ушел в дом руководить установкой оборудования, а я решил прогуляться вдоль озера.

Здесь мне попался бежавший трусцой Симыч, он со мной поздоровался на ходу так, как будто мы каждый день встречаемся с ним на этой дорожке.

Когда я пришел на завтрак, там уже под руководством Джона суежилась вся команда операторов, осветителей и звукотехников.

В столовой за столом собрались все домочадцы: Клеопатра Казимировна, Жанета, Зильберович, Том и Степанида. Все они были чем-то взволнованы, а при моем появлении даже выразили некоторое смущение, которое, впрочем, тут же прояснилось.

Дело в том, что, как очень вежливо мне сказала Жанета, сейчас Сим Семыча будут снимать в характерной домашней обстановке за завтраком, среди самых близких, а поскольку я к самым близким не отношусь, то не буду ли я столь любезен и не откажусь ли позавтракать у себя в комнате.

Я обиделся и хотел тут же уйти. В конце концов, из-за чего я здесь сижу? Жду, чтобы мне оплатили мою поездку? Я теперь сам достаточно обеспечен, чтобы от такой ничтожной суммы никак не зависеть.

Я уже двинулся к выходу, но тут дверь растворилась и сначала на тележке ввезли Джона, который, выпятив обтянутый джинсами зад, приник к камере, а вслед за Джоном появился и сам Сим Семыч в тренировочном костюме. Он шел быстро, как бы не замечая никаких камер и вынашивая на ходу свои великие мысли.

Впрочем, приблизившись к столу, он тут же преобразился и повел себя как настоящий денди, поцеловал жену, затем поцеловал руку Клеопатре Казимировне, пожал руку Степаниде, Тома похлопал по плечу, Зильберовичу кивнул, а мне сказал:

– Мы уже виделись.

Затем он сел во главе стола, предложил помолиться господу и закричал тонким голосом: «Господи, иже еси на небеси...»

– Это о...кей, – перебил Джон, – это достаточно, мы все равно будем перевести по английский. Теперь вы немножко кушаете и разговариваете. И если можно, сделайте немного улыбка.

– Никаких улыбок, – сердито сказал Семыч. – Мир гибнет. Запад отдает заглочникам страну за страной, железные челюсти коммунизма уже подступили к самому нашему горлу и скоро вырвут кадык, а вы все лыбьтесь. Вы живете слишком благополучно, вы разнежились, вы не понимаете, что за свободу нужно бороться, что нужно жертвовать собой.

– Каким образом мы должны бороться? – вежливо спросил Джон.

– Прежде всего вы должны отказаться от всего лишнего. Каждый должен иметь только то, что ему крайне необходимо. Вот посмотрите на меня. Я всемирно известный писатель, но я живу скромно. У меня есть только один дом, два коттеджа, баня, конюшня и миленькая церквушка.

– Скажите, а это озеро ваше?

– Да, у меня есть одно маленькое скромное озеро.

– Мистер Карнавалов, как вы считаете, кто сейчас самый лучший в мире писатель?

– А вы не знаете?

– Я догадываюсь, но я хотел бы сделать этот вопрос вам.

– Видите ли, – сказал, подумав, Семыч, – если я скажу, что лучший в мире писатель я, это будет нескромно. А если скажу, что не я, это будет неправда.

– Мистер Карнавалов, всем известно, что у вас есть миллионы читателей. Но есть люди, которые не читают ваших книг...

– Дело не в том, что не читают, – нахмурился Семыч, – а в том, что не дочитывают. А иные, не дочитав, облыгают.

– Но есть люди, которые дочитывают, но не разделяют ваши идеи.

– Чепуха! – нервно воскликнул Семыч и стукнул по столу вилкой. – Чепуха и безмыслие. Что значит – разделяют идеи или не разделяют? Для того чтобы разделять мои идеи, нужно иметь мозг немножко больше куриного. У заглочников мозг заплыван идеологией, а у

плюралистов никакого мозга и вовсе нету. И те и другие не понимают, что я говорю истину и только истину и что вижу на много десятилетий вперед. Вот возьмите, например, его. – Семыч ткнул в меня пальцем. – Он тоже считается вроде как бы писатель. Но он ничего дальше сегодняшнего дня не видит. И он вместо того, чтобы сидеть и работать, едет куда-то туда, в так называемое будущее. Хочет узнать, что там произойдет через шестьдесят лет. А мне никуда ездить не надо. Я и так знаю, что там будет.

– Очень интересно! – закричал Джон. – Очень интересно. И что же именно там будет? Семыч помрачнел, отодвинул миску и стал стряхивать с бороды крошки.

– Если мир не вникнет в то, что я говорю, – сказал он, глядя прямо в камеру, – ничего хорошего там не будет. Ни там и нигде. Заглочки пожрут весь мир и самих себя. Все будет захвачено китайцами.

– А если мир вас все же послушает?

– О, тогда, – оживился и вопреки своим принципам заулыбался Семыч, – тогда все будет хорошо. Тогда начнется всеобщее выздоровление, и начнется прежде всего в России.

– Какой вы видите Россию будущего? Надеетесь ли вы, что там восторжествует демократическая форма правления?

– Ни в коем случае! – горячо запротестовал Семыч. – Ваша хваленая демократия нам, русским, не личит. Это положение, когда каждый дурак может высказывать свое мнение и указывать властям, что они должны или не должны делать, нам не подходит. Нам нужен один правитель, который пользуется безусловным авторитетом и точно знает, куда идти и зачем.

– А вы думаете, такие правители бывают?

– Может быть, и не бывают, но могут быть, – сказал Семыч многозначительно и переглянулся с Жанетой.

– Я ужасно извиняю, – сказал Джон, подумав. – Вы имеете в виду кого-то конкретно или это только теория?

– Ах, черт! – вдруг возбудился Семыч. Он хлопнул себя по колену, встал и нервно заходил по комнате. – Вот видите, если я вам скажу то, что я думаю, то тут же поднимется ужасный вой, плюралисты всего мира на меня накиннутся, как собаки. Скажут: Карнавалов хочет стать царем. А я быть царем не хочу. Я художник. Я думаю художественно. Я мыслю образами. Я беру образ, обмысливаю его и кладу на бумагу. Понятно?

– О да, – сказал неуверенно Джон. – В общем, понятно.

– Ну так вот. Я царем быть не хочу. Я еще не все свои художественные задачи выполнил. Но иногда исторические обстоятельства складываются так, что человек вынужден взять на себя миссию, которую ему господь предназначает. Если другого такого человека не находится в мире, то он должен это взять на себя.

– Если бы вам выпала такая миссия, вы бы не отказались?

– Я бы отказался, если бы был хотя бы один человек, которому можно было бы довериться. Но никого вокруг нет. Вокруг все одна мелочь. И только поэтому, если господь восхочет написать страницу истории этой рукой, – Семыч поднял вверх руку с вилкой, – тогда что ж...

Семыч, не договорив, погрузился – видимо, усомнился, что господь изберет именно эту руку.

– Ну да ладно, – произнес он со смирением, тут же, впрочем, переходя на повелительный тон. – Как уж будет, так будет, а пока завтрак окончен, пора работать.

Джон спросил Семыча, можно ли будет снять его за работой, Семыч сказал, что, конечно, он будет работать, а они его могут снимать, он привык работать в трудных условиях, и телевидение его не отвлекает.

– Семыч! – кинулся я к нему. – Но пока то да се, может, мы все же поговорим?

– Не могу, – сказал Семыч. – Я и так потерял уже слишком много времени.

На другой день меня вообще не допустили к завтраку, потому что к Семычу приехал конгрессмен Питер Блох и они провели за завтраком короткие переговоры о ядерном разоружении.

Я не выдержал, вспылал и заявил Зильберовичу, что в любом случае уезжаю.

– Ну подожди, подожди, – попросил Зильберович. – Я постараюсь все уладить.

Секс-бочка

Через пять минут он вернулся с опечаленным лицом. Нет, сегодня Семыч принять меня не может никак. У него отняли столько времени, что он написал всего лишь четыре страницы. Возможно, ему придется отказаться даже от дневного отдыха и урока со Степанидой. Единственное удовольствие, которое он себе оставляет, это Бах, да и то потому только, что без Баха он не может заснуть. А если он не заснет, то и следующий день испорчен.

Выслушав эту информацию, я ничего не ответил и пошел к себе в келью собирать вещи.

«Сволочи и мерзавцы! – восклицал я мысленно, швыряя в чемодан грязные носки и мятые рубашки. – Ему его время дорого, а мое не дорого. Они думают, что я здесь буду сидеть в ожидании, пока они мне оплатят билет. Дудки! Не нужен мне ваш билет. Сам заплачу, не бедный. Но здесь не останусь больше ни одной секунды. Дураков нет! Хватит!»

Я уже хотел закрыть чемодан, но обнаружил, что в нем не хватает моих домашних шлепанцев. Куда же они запропалились?

Я стал шарить глазами по углам, когда дверь открылась и на пороге с веником и совком в руках появилась Степанида.

– Ой, барин! – воскликнула она. – Вы здесь!

– Чего тебе нужно? – спросил я.

– Да чего ж, прибраться немного хотела. Я-то думала, вы тама, а вы, гляди, здесь. Так я тогда, может быть, опосля?

На лице ее блуждала свойственная ей идиотическая улыбка.

– погоди, – сказал я, – ты моих тапок случайно не видела?

– Тапок? – переспросила она и стала думать, как будто я задал ей доказывать теорему Пифагора. – А, как же! – сообразила она наконец. – Это ваши эти слиперы.⁵ Такие рыжие, без каблуков. Как же, как же, видала. Я их туды под кровать сунула, чтоб не воняли. Джаст э момент.⁶

Она стала на коленки и полезла под кровать, нацелившись на меня своим неопишным задом. Короткая юбка ее задралась, обнажив полупрозрачные трусики с тонкими кружевами.

О боже! Я всегда был равнодушен к этой части женской конструкции, но такого соблазна никогда в жизни еще не испытывал. Эти два наполненных загадочной энергией полушария притягивали меня, как магнит.

Борясь с соблазном, я попытался отвести глаза и раздраженно спросил, что она там так долго возится.

– Сейчас, барин! – донесся ее певучий голос из-под кровати. – Минуточку, только глаза к темноте привыкнут.

– Да какая там темнота! – сказал я и, нагнувшись, хотел сам заглянуть под кровать, но потерял равновесие и впелся руками в обе ее половинки, которые тут же затрепетали.

– Ой, барин! – донесся ее испуганный голос. – Да что это вы такое делаете?

– Ничего, ничего, – иступленно бормотал я, ощущая, как нежные кружева сползают с нее, словно пена. – Ты так и стой. Ты привыкай к темноте. Сейчас будет хорошо! Сейчас ты все увидишь! По-моему, ты уже что-то видишь! – задыхаясь, шептал я, чувствуя, как под моим сумасшедшим напором она слабеет и плавится, как масло.

Должен сказать, что я человек твердых нравственных принципов. И все мои знакомые знают меня как образцового семьянина. Но в тот момент я просто сошел с ума и совладать с собою не мог.

⁵ Slippers – домашние тапочки (англ.).

⁶ Just a moment – минуточку (англ.).

Потом мы кувыркались на широченной кровати, перина лопнула, пух летал по всей комнате и прилипал к потному телу. Я потерял над собою всякий контроль, стонал, выл, скрежетал зубами. И она тоже лепетала мне всякие нежности, называя меня и миленьким, и золотеньким, и разбойником, и охальником, и тешила мою гордость утверждениями, что такого мужчины она в жизни своей не встречала.

Мы отлипли друг от друга только к обеду, на который я, помятый и обессиленный, еле приволок ноги. У меня был такой вид, что Жанета даже спросила, не заболел ли, а ее пронизательный братец не сказал ничего, но по его ухмыляющейся роже я видел, что он обо всем догадался.

Мне было неприятно, что он догадался, и я хотел уехать после обеда, но, во-первых, не было сил, а во-вторых, она обещала прийти ко мне ночью. И пришла, как только ее Том заснул, накачавшись бурбоном.

Это была настоящая секс-бомба. Или, учитывая особенности ее сложения, секс-бочка. Бочка, начиненная сексом, как динамитом, без малейшего признака какого бы то ни было интеллекта. Но она потрясла меня так, что я потерял рассудок и готов был, забыв и семью, и все свои планы, остаться здесь и, впившись пауком в Степаниду, умереть от истощения сил.

Я даже обрадовался, узнав, что во время следующего завтрака Семыч опять поговорить со мною не сможет, потому что из издательства пришла верстка, а другого времени для чтения ее, кроме завтрака, у него нет.

Но перед обедом, когда я только-только отпустил Степаниду, прибежал взволнованный Зильберович и сказал, что Семыч требует меня к себе немедленно.

Хорошо

Симыч так увлеченно работал, что не слышал, как я вошел. Склонившись над столом, он что-то писал и, между прочим, вовсе не конторской ручкой, а шариковой фирмы «Паркер». Конторская же, та самая, с обкусанным концом, которая когда-то произвела на меня впечатление, вместе с другими ручками и карандашами торчала из алюминиевой кружки с выцарапанными на ней инициалами «С. К.».

Симыч держал «паркер», зажав в кулаке, как резец, и писал, налегая на ручку плечом и раздирая бумагу. Я не видел, что именно он сочинял, но, начертав какой-то кусок или фразу, он, замахнувшись ручкой, замирал, шевелил губами, перечитывая. Дочитав до конца, встряхивал головой, восклицал:

– Хорошо!

И резким ударом, словно заколачивал гвоздь, ставил точку.

Потом еще фраза и опять:

– Хорошо!

И опять точка.

Я смотрел на него с завистью. Видно было, что работает уверенный в себе мастер. Мне было неловко его прерывать, но и стоять за его спиной тоже было как-то глупо. Я покашлял раз, потом другой. Наконец он меня услышал, вздрогнул, повернулся:

– А, это ты! – И сказал нетерпеливо: – Что тебе нужно?

Я сказал, что мне ничего не нужно, я пришел проститься и выслушать его пожелания.

– Хорошо, – сказал он и взглянул на часы. – У меня для тебя есть семь с половиной минут.

– Симыч! – закричал я вне себя от негодования. – Ты меня извини, но это просто нахальство. Я тут из-за тебя сутками околачиваюсь, а у тебя для меня только семь с половиной минут.

– Было семь с половиной, а теперь, – он опять взглянул на часы, – только семь. Но этого достаточно. И напрасно кипятишься. Для тебя наша встреча тоже будет полезной. Возьмешь с собой «Большую зону».

– «Большую зону»? – удивился я. – С собой в Мюнхен?

– Да не в Мюнхен, а в Москву две тысячи... какого года? Сорок второго? Вот туда и возьми.

– Как? Все шестьдесят глыб?

– Шестьдесят, – помрачнел Симыч, – я еще не написал. Меня слишком часто отрывают. Я написал только тридцать шесть.

– И ты хочешь, чтобы я туда, в будущее, тащил тридцать шесть глыб. Зачем? Неужели ты не веришь, что они к тому времени будут уже напечатаны?

– Конечно, будут, – подтвердил Симыч. – Но я боюсь, что они там что-нибудь исказят или поправят. А я хочу, чтобы все было точно.

– Это я понимаю, – сказал я. – Но тридцать шесть глыб я просто не дотащу. У меня грыжа, и я больше пяти никак не осилю.

– Ясное дело, – усмехнулся Симыч самодовольно. – То, что мне под силу, другим неважно. Но вот это ты, надеюсь, все же осилишь.

Он открыл пластмассовую коробочку и вынул из нее тонкую, размером с ладонь, черную пластинку. Это был обыкновенный флоппи-диск от домашнего компьютера, но, видимо, с очень большими возможностями.

– Вот, – сказал, усмехаясь, Симыч. – Все тридцать шесть глыб. Не надорвешься.

– И что я с этим буду там делать?

– Это я не знаю, – вздохнул Семыч. – Это зависит от того, что там. Если все это опубликовано, вычитаешь и сверишь ошибки...

«Хрен тебе! – решил я про себя. – Вычитывать тридцать шесть глыб для меня (я читаю медленно) – это год работы, а я еду не больше чем на месяц...»

– Если ошибок нет, сдай диск в музей Карнавального...

– А если музея нет? – спросил я с осторожным ехидством.

– А если нет, – рассердился он то ли на меня, то ли на неблагодарных потомков, – значит, там все еще правят заглотики. Тогда ты... – Тут он прямо весь задрожал, заходил по комнате... – Тогда вот что. Найди какой-нибудь будущий компьютер, вставь в него эту штуку, напечатай как можно больше экземпляров и распространяй, распространяй это, и чем шире, тем лучше. Прямо раздавай всем направо и налево. Пусть люди читают, пусть знают, что собой представляют прожорные их правители.

– Семыч, – сказал я тихо. – Ну, а как же я буду распространять-то? Ведь ежели там все еще правят заглотики, так они ж меня арестуют, а может, даже и расстреляют...

Это я высказал крайне неосторожно. Я еще не закончил фразы, а он уже побагровел, сжал кулаки и затрясся.

– Молодой человек! – загремел он так, что даже стекла задребезжали. – Стыдно, молодой человек! Россия гибнет! Прожорные заглотики уже хрустят костями половины мира, нужны жертвы, а вы все беспокоитесь о себе.

Впрочем, видя мое смущение, он быстро сменил гнев на милость.

– Ну ладно, – сказал он, – ладно. Слабость духа – это порок, который свойствен многим людям. А у тебя это потому, что в бога не веруешь. Если б ты верил в бога, то ты бы знал, что страдания укрепляют наш дух и очищают от скверны. И ты бы знал, что земная наша жизнь только временная прогулка, зато там отдохновение от всего и вечное блаженство. Подумай об этом. А сейчас езжай... Да, совсем забыл. Вот тебе записка. Возьми ее с собой тоже и там передашь кому нужно из рук в руки. Но не вздумай открывать и читать.

С этими словами он вручил мне плотный конверт с сургучной печатью. На конверте крупными буквами было написано:

БУДУЩИМ ПРАВИТЕЛЯМ РОССИИ

– Лео! – закричал он.

Тут же дверь отворилась, явился Лео, одетый попросту, в джинсах и в майке, которую американцы называют «ти-шерт». На майке был изображен Семыч.

– Лео, – сказал Сим Семыч, кивнув на меня, – он уезжает. Проводишь его до монреальского большака.

– Семыч, – сказал Лео довольно развязным тоном, – а может, он пообедает с нами и потом поедет?

– Это не нужно, – решительно возразил Семыч. – Пообедает в леталке. Незачем время попусту тратить.

Утром следующего дня я вернулся в Мюнхен и письмо будущим правителям опустил в мусорный ящик. Но флоппи-диск оставил, сам не знаю зачем.

Долгие провода

Не знаю, как у других, а у нас, у русских, принято прощаться долго и всерьез. Уходит ли человек на войну, отправляется ли в кругосветное путешествие, едет ли в соседний город в несколькодневную командировку или, наоборот, в деревню к родственникам, его провожают долго и обстоятельно.

Поэт сказал: «...и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг».

Именно так мы и делаем. Созываем гостей, пьем, произносим тосты за отъезжающих, за остающихся. Перед выходом из дома принято на минутку присесть и помолчать. А потом на вокзале, на пристани или в аэропорту мы долго целуемся, плачем, произносим глупые напутствия и машем руками.

У нас в доме было принято, что, когда кто-нибудь уезжал, мать не подметала полы до тех пор, пока от уехавшего не приходила телеграмма о благополучном прибытии на место.

Может, кто-то считает это дикостью, но мне весь этот ритуал, замешанный на вековых традициях и привычках, нравится и кажется исполненным высокого смысла. Потому что мы никогда не знаем, какое из наших прощаний окажется последним.

«...И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг...»

Короче говоря, провода мы устроили честь по чести. С блинами, икрой, шампанским и водкой. Народу всякого русского и нерусского скопилось столько, что сидели чуть ли не по двое на одном стуле. Понятно, мы нашим гостям ничего ни о сроках, ни о направлении моего путешествия не говорили, но вели себя при этом так глупо, загадочно и многозначительно, что пришедшие невольно стали строить догадки, что я то ли собираюсь пересечь на воздушном шаре Атлантический океан, то ли провести какое-то время среди африканских повстанцев.

Все эти домыслы я не отрицал и не опровергал, что вызвало еще более нелепые предположения, включая даже и такое, что я хочу просто запереться дома и, сказавшись отсутствующим, писать новый роман.

Среди гостей был и Руди, который (я должен это отметить особо) вел себя самым деликатнейшим образом, не выдав ни словом, ни намеком своей осведомленности.

Надо сказать, что провода прошли хорошо, хотя несколько затянулись. Последнего гостя мы вытолкали без четверти три ночи, а в четверть седьмого утра жена уже подняла меня на ноги.

Можете себе представить мое состояние, когда я, нисколько еще не протрезвевший, страдая от головной боли, изжоги и отрыжки, волок к машине чемодан, набитый подарками моим предполагаемым друзьям-потомкам.

Жена забегала вперед, проклиная меня, что я иду слишком медленно, и мне показалось несколько странным, что это она так торопится меня спроводить. Хорошо ей было говорить, если у нее в руках был только маленький чемоданчик типа «дипломат», в который я наспех покидал то, что нужно в самое первое время: майки, трусы, носки и всякие вещи, которыми бреются, причесываются, стригут ногти и чистят зубы.

Собственно говоря, времени у нас было достаточно, но, когда мы дотащились до машины, выяснилось, что накануне я забыл выключить фары и аккумулятор сдох. Вызвали такси, но у самого аэропорта влипли в пробку: полиция перекрыла дорогу из-за двух столкнувшихся автобусов.

Короче, в аэропорт мы попали, когда посадка уже кончалась.

Меня так мутило, что, поднимая чемодан на весы, я чуть не упал. А когда работница «Люфтганзы» спросила меня, какое мне выписать место, раухен одер ниht раухен,⁷ я сказал «раухен» и при этом так дыхнул на нее, что она, по-моему, на какое-то время впала в коматозное состояние. Полицейскому, который меня общупывал, тоже, как мне показалось, стало немного не по себе, потому что он, исполняя свой служебный долг, очень усердно от меня отворачивался.

⁷ Rauchen oder nicht rauchen – для курящих или некурящих (нем.).

Лицо в иллюминаторе

Летательный наш аппарат снаружи я разглядеть не успел. Не только потому, что не было времени, но и потому, что пассажиры входили в него через выдвижной коридор, какие бывают сейчас во всех современных аэропортах.

Внутри же это был самолет как самолет: кресла, ремни, иллюминаторы и стюардессы.

Пассажиров было немного. Человек десять-двенадцать или пять-шесть (у меня в глазах все двоилось).

Я занял место у окна, перешагнув через колени прыщавого молодого человека. Лицо его, несмотря на то, что он был в больших темных очках, мне показалось знакомым, но я не придавал этому никакого значения. Когда я бываю надрвавшись, по крайней мере половина встречаемых мною людей кажутся мне знакомыми.

Пристроив «дипломат» в ногах, я стал смотреть в окно. Там шли обычные предполетные приготовления. Люди в синих комбинезонах что-то там осматривали и заправляли, а один с переносной рацией и в наушниках с кем-то говорил в микрофон.

Кажется, я задремал.

Когда я первый раз очнулся, наш фантастический драндулет уже плыл, покачиваясь, по рулежной дорожке.

Остановился, двинулся, снова остановился.

Я глянул в иллюминатор и определил, что мы находимся в центре довольно длинной очереди самолетов, ожидающих разрешения занять свое место на взлетной полосе. Передняя половина очереди загнулась вправо, что давало мне возможность видеть машины, идущие впереди. Первыми шли два самолета «Люфтганзы», затем «Алиталия», за ним самолет израильской компании «Эль Аль», потом болгарский «Ту-154», английская «Каравелла» и еще один немецкий «Боинг». Когда же наконец и мы завернули, я увидел, что непосредственно за нами, припадая к земле дельфиньим носом и словно принохиваясь к нашему следу, рулит гордость советского Аэрофлота – «Ил-62», бортовой номер 38276.

Несмотря на общее в результате алкоголизма ухудшение памяти, я этот номер запомнил без труда. Первая часть числа умножается на серединную цифру, получается простое произведение: $38 \times 2 = 76$. Чтобы не запомнить такое, надо уж быть совсем маразматиком, а я им, слава богу, еще не стал.

Конечно, разглядеть, что находилось внутри «Ила», было просто невысказуемо, да я к этому и не стремился. Я просто разглядывал сам самолет, общие его очертания, когда увидел или мне показалось, что увидел, за одним из иллюминаторов прилипшее к стеклу и расплывшееся лицо... ну кого бы, вы думали? Ну, конечно, Лешки Букашева.

Глядя на него, я невольно усмехнулся. Я вспомнил то время, когда в Москве меня постоянно сопровождали машины, набитые агентами КГБ. У них были мощные форсированные моторы, и мне почти никогда не удавалось от них оторваться.

Но теперь ситуация изменилась. Теперь, если бы даже Букашев и захотел следить за мной, это ему вряд ли бы удалось. Он еще будет озирать окрестности Мюнхена, когда наш летательный аппарат уже выйдет за пределы Солнечной системы.

Мои мысли прервало сообщение по радио. Капитан корабля херр Отто Шмидт, поприветствовав пассажиров, просил пристегнуться и воздержаться временно от курения. Он пожелал пассажирам и самому себе счастливого полета и выразил надежду, что там, куда мы вскоре прибудем, нас вместе с нашим замечательным космопланом не сожрут какие-нибудь динозавры или чудовищные мутанты, расплодившиеся на Земле после всеобщей ядерной катастрофы. Все пассажиры, само собой, похихикали, и я тоже, но, честно признаюсь, мне от этой шутки стало немного не по себе.

Тем временем пришло разрешение на взлет. Наш аппарат загудел на месте, раскручивая крыльчатки своих турбин, затем тяжело тронулся с места и с ужасным воем и скрежетом начал подминать под себя взлетную полосу.

Проплыла мимо очередь самолетов, промелькнули аэродромные постройки, ухнула, провалилась забитая разноцветными машинами автострада. Я увидел излучину реки Изар, четырехцилиндровое здание фирмы «БМВ», двуглавую церковь Фрауэн Кирхе, а дальше подробности размывались, смазывались, очертания лесов и озер сжимались, словно я смотрел в перевернутый бинокль, быстро увеличивая фокусное расстояние.

Прощай, Мюнхен! Прощай, Германия! Прощай, моя прошлая жизнь! Прощай, проклятый двадцатый!

Часть вторая

Полет

Я подозреваю, что читателей этой книги интересуют подробности космического путешествия: перегрузки, звездные пейзажи, столкновения с метеоритами, встречи и сражения с представителями иных цивилизаций.

Увы, ничего подобного в нашем путешествии не было. Кому такие вещи интересны, пусть читают научно-фантастические романы, к которым лично я никакого отношения не имею. Я описываю только то, что было, и ничего лишнего.

А то, что было на самом деле, даже не очень удобно рассказывать. Некоторые детали я охотно бы опустил, только моя исключительная правдивость не позволяет мне ни на шаг отступить от правды фактов.

Так вот, говоря по правде, я о самом полете имею весьма смутные воспоминания. Потому что, как только мы оторвались от земли, я тут же опять заснул. Потом меня разбудила стюардесса, толкавшая перед собою тележку с напитками. Улыбнувшись в полном соответствии со служебной инструкцией, она спросила меня, что я буду пить. Разумеется, я сказал: водку. Она опять улыбнулась, протянула мне пластмассовый стаканчик и игрушечную (50 граммов) бутылочку водки «Смирнофф». Она собралась уже двигать свою тележку дальше, когда я нежно тронул ее за локоток и спросил, детям примерно какого возраста дают такие вот порции. Она понимала юмор и тут же, все с той же улыбкой, достала вторую бутылочку. Я тоже улыбнулся и довел до ее сведения, что, когда я брал билет и платил за него солидную сумму наличными, мне было обещано неограниченное количество напитков. Она удивилась и высказала мысль, что неограниченных количеств чего бы то ни было вообще в природе не водится. Поэтому она хотела бы все-таки знать, каким количеством этих пузырьков я был бы готов удовлетвориться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.